

**Военные
Приключения**

ПЕТРОВКА, 38



ЮЛИАН СЕМЕНОВ

Юлиан Семенов
Петровка, 38. Огарева, 6

© Семенов Ю.С., наследники, 2007

© ООО «Издательство «Вече», 2007

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019

Сайт издательства www.veche.ru

Петровка, 38

Интродукция

– Слышь, Сань, ты не думай, я умный. Я все под контролем держал. Точка в точку сойдется. Он тут ходит, Сань. Он старый, силы в нем нет, а пистолет – на боку. Иль сменщик его – тот молодой, Сань, но это ничего, он молодой, да глупый. А пистолет нам нужен. Безрукие мы, когда пистолета нет. Слышь, Сань, ты не трясясь, не надо, я на риск не хожу, я всегда точно хожу, я все семь раз промеряю... Ты не трясясь, не надо, Сань...

– Я и не трясусь.

– Кассу возьмем на разживу, я ее заметил, кассу-то. А потом у меня два адресочка есть. Профессор и музыкант. На всю жизнь обеспечимся, только ты, Сань, не трясясь. Видишь, у меня рука холодная, это спокойный я, не боюсь, уверен я...

– Помолчи, Прохор.

– Да ты не тревожь себя, Сань. Ты думаешь, это страшно? Не-е, Сань. Человек как петух помирает, он в смерти тихий. Он ее с благостью принимает. Я знаю, я сам мертвым был.

– Когда он пойдет?

– Скоро, Сань. Скоро один из них пойдет. Вот держи кастет, он свинцовый, сразу валит, без звука. Ишь руки у тебя трясутся. Ты их погрей, руки-то, под мышки сунь, они свое тепло почуют, отойдут. Бить надо слабой рукой, она звереет, когда слабая-то.

Милиционер Копытов

Милиционер Копытов заступил на дежурство в двенадцать часов ночи. Он шел по уснувшей улице неспеша, мурлыча под нос старую тягучую песню. Он помнил ее с детских лет, когда бабка Фрося, вспухшая и громадная, как сундук, тянула эту песню, громяхая у плиты чугунными горшками.

Копытов остановился и, прикрыв лицо от ветра, чиркнул спичкой. Закурил.

Он затыкнулся и, остановившись под фонарем, посмотрел на часы. Вздохнул, потому что вспомнил Генку – своего средненького. Утром, запершись в уборной, курил, сукин сын, а ведь только двенадцать стукнуло. Копытов долго раздумывал, стоит ли говорить жене, но потом все же решил не говорить. Он решил сам потолковать с Генкой по душам и увел его из дому. Копытов сел на скамеечку и начал Генку уговаривать. Генка молчал и мрачно глядел себе под ноги. Копытов говорил и говорил, и чем дальше, тем ясней чувствовал, что говорит он совсем не то, что следовало бы. Когда-то на него очень сильное впечатление произвел доклад, который сделал у них в отделении старичок доктор. Особенно его поразило, когда доктор рассказывал, что никотином, если его собрать из одной пачки «Беломора», можно убить лошадь... И еще Копытову понравилось, когда старичок сказал, что лучше выпивать сто граммов водки перед обедом, чем курить хоть одну папиросу.

«Генке этого не выложишь», – подумал Копытов.

Он долго молчал, а потом сказал так:

– Эх, Генк, Генк... Вот ты молодой, а куришь. Я хоть и старый, а ты меня все равно не догонишь, если побежим.

– Догоню.

– Не...

– Догоню, пап, ты лучше не предлагай. Я в школе кросс первым пробегаю.

Копытов рассердился и подумал: «Ишь, сопляк, а самоуверенный».

– Я что сказал? – спросил он. – Или не слышишь? Беги!

Генка поднялся и снова уставился в землю.

– Давай до ворот! – сказал Копытов и побежал.

Он слышал Генкины шаги у себя за спиной. Он бежал все скорей и скорей, но уже ясно понимал, что долго так не пробежит, потому что начал задыхаться. Он обернулся и увидел Генку совсем рядом. Тот бежал легко и, конечно, мог бы легко его обогнать. Копытов остановился и долго дышал носом, чтобы восстановить дыхание. Потом сказал:

– Вот штука какая... А ты, понимаешь, спорил со мной.

– Я не спорил.

– Упрямый ты.

– Я понарошку курю, пап...

– Она как зараза. Сначала понарошку, а потом не вылезешь. А ведь двадцать копеек за пачку. Помножь ее на триста – вот тебе и велосипед к празднику купим.

– А почему на триста?

– Год получится, не понимаешь, что ль? Триста дней – год. Умножь на двадцать две копейки, если «Беломор» считать.

– В году триста шестьдесят пять...

– Ну, округлил я.

– Округлил, а выйдет не мужской, а подростковый.

– Так ты ж и есть подросток.

– Я пока подросток, а зато на нем переключения передач нету. А без переключения – разве это машина?

– Я тебе переключение сам устрою.

– А сможешь?

– Чего не смочь? Конечно, смогу.

Генка вздохнул, а потом улыбнулся.

– Пап, только это у нас как в сказке. Откуда мы с тобой по двадцать две наберем? Мамка ведь не будет нам специально на

папиросы деньги давать. И потом – я не «Беломор», а «Дукат» все больше курю, а он всего семь копеек стоит.

– Высеку я тебя, Генка, – сказал Копытов, – а то уж больно ты дерзкий.

– Я не буду курить, пап, честное слово.

– Еще мать узнает... Знаешь, что будет?

– Знаю...

– Женщины, они ведь, сынок, нервные. А если еще это дело...

Копытов внезапно замолчал, потому что дальше он хотел говорить о водке, но вовремя спохватился, поняв, что с Генкой об этом говорить никак нельзя.

– Какое дело? – спросил Генка.

– Да так, к слову...

– Про двести с прицепом, что ль? – засмеявшись, сказал Генка. – Ты все думаешь, я маленький, а я через три года на завод пойду...

Копытов поздоровался с дворниками, которые сидели на скамеечке около дома номер семнадцать.

– Здравствуйте, Кузьма Семеныч, – ответили дворники в один голос.

– Все спокойно у вас?

– Порядок.

– Лешка из девятой не буянил?

– Притих.

– Мы ему в отделении сказали: еще раз напьешься – выслем из Москвы...

– Не, пока не нажирался, – сказал дворник Хайрулин.

– Парень хороший. На баяне играет, – сказал дворник Афонин.

– Слышь, Афонин, – спросил Копытов, – а в нашем универмаге велосипеды подростковые есть?

– Есть.

– А взрослые?

– Взрослых давно не завозили...

- Но бывают в продаже-то или химичить надо?
- Иногда бывают...
- А сколько стоит, не знаешь?
- Откуда я знаю, – ответил Афонин, – я свое откатал.
- Ну ладно... Завтра узнаю.
- Скоро к нам вернетесь?
- А вот участок обойду...
- Да посидите, Кузьма Семеныч... Покурим...
- Вернусь – и покурим... Я недолго...

Копытов шел вдоль темной аллеи. Он увидел согнутое молодое деревцо и начал рыться в карманах. Нашел кусок бечевки и подвязал деревцо к шесту, вбитому рядом.

Он отошел еще с полкилометра и увидел на скамейке двух мужчин. Они сидели, низко опустив головы.

Копытов подошел поближе и сказал:

- Ребятки, домой пора. Поздно.

Мужчина, что постарше, замотал головой и замычал что-то невнятное. Второй икнул и улыбнулся Копытову странной, мертвой улыбочкой. Копытов заметил, что лицо его бледно и покрыто испариной.

– И чего напились? – спросил Копытов. – Где живете? Пошли, помогу дойти хоть... Вот ведь нажрались-то, а...

Второй поднялся и стал раскачиваться с носка на пятку. Копытов взял его под руку. Удивился, потому что от человека совсем не пахло водкой.

- Или ты больной? – спросил Копытов. – Никак больной?

- Б-больной.

Копытов обернулся, чтобы спросить того, что помоложе, но ничего не успел спросить, потому что страшной силы удар обрушился на него, смял и бросил на землю. Падая, он увидел Генку, который ехал на взрослом велосипеде, жену и бабку Фросю. Она пела песню и

возилась с тестом. А потом все исчезло, стало лишним и безразличным ему – отныне и навсегда.

– Пусть шофер включит прожектор, – сказал оперуполномоченный МУРа Росляков.

Яркий свет прожектора резанул ночь легко, словно острый нож кусок черного хлеба. Ночь раскололась надвое, и все увидели мертвого Копытова. Он лежал, сжавшись в комочек, щупленький старый человек с большими руками крестьянина. Его руки словно жили еще. Они обнимали землю, сквозь которую пробивалась первая зелень, казавшаяся синей в белом свете прожектора. Росляков долго и внимательно рассматривал голову милиционера, пробитую у виска чем-то тяжелым.

– Вы еще будете долго работать? – спросил он эксперта.

– Право, не знаю. Он очень плохо лежит. Где фотограф, товарищи?

– Тогда вы работайте, а я поговорю с людьми.

Дворники ничего путного рассказать не могли, потому что, кроме самого Копытова, никого не видели, голосов не слышали, и вообще ничего такого, на что следовало бы обратить внимание, сегодня не случилось.

– Он все смеялся: «Велосипед куплю», – сказал дворник Афонин.

– Он тут у вас ни с кем не ссорился?

– Да, господа, он же человек мягкий.

– Был, – поправил дворник Хайрулин, – был человек...

Проводник собаки Еремушкин, вернувшись, сказал, что след оборвался в километре отсюда, около стоянки такси.

– Там машин нет?

– Пусто.

Оперативник из отделения, ходивший вместе с Еремушкиным, сказал:

– Проходящая машина была, тормозной след посередине улицы оборван.

– Вы замерили?

– Да. И ширину и длину.

– Позвоните к дежурному, пусть сообщит в ОРУД.

– Хорошо...

После этого Росляков начал осторожно – метр за метром – осматривать землю вокруг убитого милиционера. Прежде чем сделать шаг, он внимательно обследовал то место, куда надо будет поставить ногу. Он помнил, как однажды комиссар сказал ему:

– Знаете, у кого надо учиться осторожности? У слепых. Они, пока место, куда надо ступить, не ощупают, ногой не шевельнут.

Росляков запомнил это и потом много раз убеждался в точности комиссаровских слов. Он сделал еще несколько шагов и сказал эксперту:

– Тут есть след.

– Сейчас.

Росляков осторожно подобрал окурок «Казбека» и в метре от окурка увидел окровавленную перчатку.

– Товарищ лейтенант, – окликнул его эксперт, – у Копытова пистолет срезан. Прямо с кобурой. Видно, за оружием охотились.

...Последовавшие за этим убийством события подтвердили предположение эксперта. В Москве начала орудовать банда вооруженных грабителей.

Через неделю утром комиссар вызвал к себе начальников двух ведущих отделов и спросил:

– Чем сейчас занимаются Костенко, Росляков и Садчиков? Снимите их со всех дел. Будем создавать специальную группу. Вызывайте сотрудников ко мне на совещание...

Первые сутки

Специальная группа

– «8 мая 1962 года в 12.20 двое неизвестных в темных очках зашли в помещение скупки № 1678 по Средне-Самсоньевскому переулку и, угрожая пистолетом и ножами, забрали у работников скупки 384 рубля. Пригрозив, преступники потребовали не выходить из скупки в течение десяти минут после того, как закроется дверь. Работники скупки слышали, как заработал автомобильный мотор, но, когда они вышли, переулок был пуст».

«12 мая 1962 года в 17.45 двое преступников в темных очках вошли в домовую лавку по Холодному переулку, дом № 10/9, заперли дверь, перерезали телефон и, угрожая оружием, потребовали выдачи денег. Забрав дневную выручку в количестве 272 рублей, преступники скрылись в неизвестном направлении».

«16 мая 1962 года трое неизвестных зашли в приходную кассу № 765/941 по Большому Васильевскому переулку, дом № 17, заперли дверь, перерезали телефон и, угрожая пистолетом, потребовали у работников кассы всю дневную выручку. Контролер Быкова А.В. вступила в пререкания с преступниками. Воспользовавшись этим, кассир Ямщикова И.Б. нажала сигнальную кнопку. У входа раздался звонок. Преступник выстрелил в Ямщикову И. Б., но промахнулся. Преступники скрылись».

Комиссар кончил читать, несколько раз чиркнул зажигалкой, посмотрел на длинный язык пламени, осторожно дунул на него и закончил:

– Таким образом, все эти три ограбления совершены, бесспорно, одной бандой. Мне кажется, что цепочка эта организовалась после убийства Копытова. Так мне кажется... Выделяю специальную оперативную группу. Прошу Костенко и Рослякова задержаться, остальные свободны. Садчиков будет руководителем, так что

вызывайте его из отпуска.

Кассир Ямщикова все время терла щеки, будто они у нее замерзли. Она говорила медленно, спотыкаясь, и, когда начинала новое слово, ноздри у нее раздувались и лоб стягивали морщины.

– Я сегодня с утра стала разбирать вчерашние документы, после того случая. Думала, все ли на месте. И вот нашла...

Она протянула Костенко расчетную книжку по уплате за коммунальные услуги. На первой желтой страничке было написано: «Самсонов Алексей Алексеевич. Улица Льва Толстого, дом 64, квартира 249».

Костенко записал фамилию и адрес на листок бумаги и пошел к телефону.

– Самсонов, – сказал он дежурному. – Да нет же, лучше я по буквам... Семен, Анна, Михаил... Самсонов. Немедленно наведите справку. Мы сейчас вернемся, так что поторопитесь.

Папа с мамой

Костенко даже не успел подняться к себе – дежурный сказал, что комиссар просит немедленно зайти к нему.

Костенко вошел в кабинет.

– Знакомьтесь, – сказал комиссар, – это товарищ Самсонов Алексей Алексеевич.

Самсонов поднялся со стула. Лицо его было опухшим и очень бледным.

– Здравствуйте, – сказал Костенко.

– Вот знаете ли, сын у Самсонова пропал. Ленька. Семнадцать лет парню. Домой не вернулся, папаша переживает.

Самсонов спросил:

– У нас курить можно?

– Чего ж нельзя, можно. Женщин нет.

– Благодарю.

- Благодарить будете, когда сын отыщется.
- Я не спал всю ночь.
- Еще бы! Костенко, свяжитесь с бюро несчастных случаев.
- Уже...
- Ну?
- Там ничего.
- Вы фотографии сына принесли? – спросил комиссар.
- Да.

Самсонов положил на стол десяток фотографий Леньки. Комиссар долго рассматривал парня, а потом спросил:

- Сами снимаете?
- Жена. Я только проявлял.
- Проявитель готовый берете или дома составляете?
- Нет, сам составляю... Вместе с Ленькой.
- Семейная артель?

Самсонов махнул рукой.

- Семейная канитель, – сказал он, – какая тут, к черту, артель!
- Пленка хорошая. Где покупали?
- Это немецкая.
- Мелкозернистая?
- Да.
- А я, знаете ли, в воскресенье все магазины обошел – чувствительность сорок пять, и только.
- Вы с блицем попробуйте снимать.
- Какой же портрет с блицем? Это только встречи на аэродроме с блицем снимают. Ну-ка, Костенко, возьмите фото и сделайте копии. Позвоните, покажите, может, кто узнает.

Костенко сразу же позвонил к Ямщиковой, вызвал машину и поехал в приходную кассу. Он положил перед ней на столе несколько фотографий мужчин и подростков. Среди них была карточка Леньки Самсонова. Костенко положил ее с краю, прикрыв уголком другого фото так, чтобы она не бросалась в глаза.

Ямщикова увидела Ленькино лицо, побледнела и сказала тихо:

– Мальчик стоял у двери.

– Это точно?

– Абсолютно. Я не думала, что он такой молоденький. Они все тогда казались мне взрослыми.

– Стрелял не он?

– Нет, другой, в очках.

– А этот так и стоял у двери?

– Нет, кажется, тот, что был в очках, сказал ему: «Стань к окну». А там стол. А на столе я потом нашла расчетную книжку. Погодите, погодите, у него еще в руках была большая книга. Совершенно верно, большая такая, в красном переплете. Это сейчас все вспоминается, вчера я вообще не могла в себя прийти.

– Понятно. А как книжка называлась, не помните?

– По темно-красному фону – черные слова, а я близорукая, название не разобрала.

Потом Костенко разложил фотографии перед контролером Быковой, и она тоже сразу, без колебаний опознала Леньку Самсонова.

– Он, ирод проклятый, – сказала женщина, – гадюка такая...

– Думаете, ирод? – переспросил Костенко и улыбнулся. – Ему всего семнадцать...

Прямо из кассы Костенко позвонил к комиссару и сказал:

– Он.

– Хорошо. Спасибо вам.

– Мне бы надо постановление... Посмотреть их квартиру...

– Вы давайте сюда подъезжайте. Тут решим.

Когда Костенко приехал в управление, Самсонов медленно пил валокордин. Комиссар подождал, пока тот допил лекарство, и спросил:

– Ну в прятки нам играть или говорить открыто?

– Конечно, открыто.

– Тогда рассказывайте, Костенко.

– Ваш сын, – сказал Костенко, откашлявшись, – вчера вместе с бандой грабителей совершил вооруженное нападение на приходную кассу. Они стреляли в женщину, но чудом не убили ее.

– Так, – сказал Самсонов. – Так, – медленно повторил он.

– Где он может быть сейчас? У родных, у друзей? Как вы думаете?

– Он должен вернуться домой, если жив.

– Он не вернется домой, Алексей Алексеевич. Это ваша? – спросил комиссар, положив на стол книжку расчета за коммунальные услуги.

– Наша, – тихо ответил Самсонов.

– Так вот. Ваш сын оставил ее на месте преступления. Теперь он будет скрываться, понимаете? Если он сразу не пришел к нам с половиной, он будет скрываться. Оружия у него не было?

– Что?!

– Вы проектировщик, в тайге бываете, у вас, видимо, есть нож. Или пистолет.

– У меня есть, но все это заперто в столе.

Комиссар снял трубку телефона, медленно негнувшись указательным пальцем набрал номер, досадливо поморщившись, подул в трубку и сказал:

– Машину к подъезду.

Опустив трубку, он спросил:

– Как сердце, отпустило?

– Сейчас легче...

– Значит, так. Надо будет сейчас произвести в вашей квартире обыск. Пока будете ехать, постарайтесь вспомнить всех друзей Ленки. Понимаете? Всех! Без исключения. Костенко, поезжайте. Да, когда появится Росляков, немедленно отправьте его в школу. Какой номер, не помните, Алексей Алексеевич?

– Девятьсот шестидесятая.

– Хорошо. Спускайтесь вниз, там «Волга».

– До свидания, товарищ комиссар.

– До свидания, товарищ Самсонов.

Когда он вышел, комиссар сказал:

– Успокойте его как-нибудь. В институте о нем говорят – золотая голова.

Пистолета в столе у Самсонова не оказалось. Зато на этажерке в комнате Ленки Костенко сразу же увидел большую книгу в красном переплете с крупными буквами: «Александр Фадеев. «Молодая гвардия». Он отправил одного из оперативников в приходную кассу, тот вернулся через полчаса и сказал:

– Та самая.

Людмила Аркадьевна, жена Самсонова, ходила следом за Костенко и шептала:

– Это ошибка, послушайте! Леша, скажи им, что это ошибка. Ну что же ты молчишь! Скажи им, что это ошибка.

– Нет, – ответил Самсонов, – это не ошибка.

– Он несовершеннолетний, – сказал Костенко, – так что, может быть, учтут.

– Нет, это ошибка, – повторила Людмила Аркадьевна, – несчастный мальчик, он ничего не подозревает.

– Перестань, – сказал Самсонов. – Надо было раньше думать.

– Холодный и черствый человек, – горько усмехнулась Людмила Аркадьевна, – сердце у тебя мохнатое.

– У меня, наверное, уже нет сердца, – ответил Самсонов и лег на диван. Он снова сделался зеленым, и кончики пальцев у него посинели так, будто отошли в жаре после жестокого мороза.

– Уходите же, – сказала Людмила Аркадьевна, – ему плохо.

Костенко тихо ответил:

– Я уйду, а два наших товарища у вас останутся. И к телефону я попрошу вас не подходить.

– Это произвол, – сказала Людмила Аркадьевна.

– Нет, – ответил Костенко, – это не произвол. Это засада.

Где Ленька?

В школе, где учился Ленька Самсонов, шли последние дни занятий. Росляков пришел туда во время перемены и сразу же оказался среди визга, шума и смеха. Солнце пронизывало насквозь коридоры, и в его желтых косых лучах носились белые пушинки тополей.

– Десятый «А» где? – спросил Росляков девушку, которая сидела на подоконнике с книгой, прижатой к груди.

– На пятом.

– Спасибо.

– Пожалуйста.

Росляков поднялся на пятый этаж и подошел к дверям класса. Там что-то кричали ребята, перебивая друг друга. Росляков поманил к себе парня с повязкой дежурного на рукаве, который ходил по коридору, наблюдая за порядком, и попросил:

– Леньку позови, пожалуйста.

– Какого?

– Самсонова.

– Так он же исключен.

– Почему?

– А он бульдога в класс привел.

– Ну и что?

– Ничего. Рычал. Галина Михайловна упала в обморок. Она собак боится. Леньку за гриву в учительскую, оттуда в милицию – и «арриведерчи, Рома».

– Это когда же было?

– Позавчера.

– А сейчас он где? Дома?

– Что вы!.. Он до этого-то домой только спать ходил. У него предки цапаются. Мы его искали, думали, чтоб он повинился, пустил слезу, но нет нигде. Может, Лев знает.

- А это кто?
 - Лев Иванович, учитель по литературе. Подпольная кличка – Лев без единого зуба.
 - Почему Лев должен знать?
 - А он у Льва любимчик. Стихи пишет.
 - Хорошие?
 - Ничего. Мне стихи бим-бом, я все больше по химии. А вы откуда сами?
 - Знакомый его. Он мне трешницу должен был, велел зайти. А где его друг, тот... этот... Ну...
 - Сема?
 - Да.
 - Сейчас позову...
- Зазвенел звонок. Ребята бросились по своим классам. Из-за двери выглянул большеголовый черный парень и спросил:
- Это ты от Ленки?
 - Нет. Сам его ищу, – ответил Росляков. – Он у тебя заперся?
 - Да нет!.. Я его обыскался – нигде нет. Он ведь псих. Ты подожди, англичанка идет, после урока поговорим.
 - Ладно, – ответил Росляков и пошел к директору.
-
- Не может быть, – тихо сказал директор. – Когда это случилось?
 - Позавчера.
 - Позавчера? В какое время?
 - В четыре.
 - В час мы его исключили из школы.
- А в милицию его за бульдога надо было обязательно таскать?
- Это глупость. Меня здесь не было, понимаете? А завуч решила его припугнуть.
 - Что, милиция в роли огородного чучела? Очень умно, а?!
 - Да, да, вы правы, конечно.
 - Великое преступление – бульдога привел!
 - С другой стороны, не маленькое, по школьным законам.

- Закон есть один. Школьными бывают порядки.
- Да, да... Какой ужас! Талантливый парень, просто не верится...

Что же делать? Где хоть он?

- Это я здесь хотел выяснить. Кто его самый большой друг?
- Он общительный мальчик. У него много товарищей.
- А Сема?
- Рывчук?
- Я не знаю. Черный, голова у него здоровая.
- Да, это он. Кажется, они дружат.
- Какой у него адрес, можно узнать?
- Сейчас.

Директор вернулся и положил перед Росляковым листик бумаги, на котором был написан адрес Рывчука.

– Да, кстати, – сказал директор, – он дружил с Тюриным. Он наш выпускник, теперь студент...

– Я позвоню, – сказал Росляков. – Вы разрешите?

– Прошу.

Росляков набрал номер и сказал:

– Слава, тут один адресок есть. Запиши, пожалуйста: Новый проспект, семь, квартира девять. Рывчук. Это его друг. И еще Тюрин, адрес надо выяснить.

Он положил трубку, вздохнул и спросил:

– А Лев Иванович ничего знать не может?

– Лев Иванович... Погодите, погодите... Вы правы... Очень может быть. Сейчас я его приглашу, у него как раз «окно».

Лев Иванович оказался стариком с бородой, совершенно беззубым, с удивительными голубыми глазами. Они у него были пронзительные и чистые, как вода. Он сел напротив Рослякова и спросил директора:

– Чем могу?..

Директор сказал смущенно:

– Вот товарищ...

– Я из угрозыска.

– Очень неприятно.

Росляков засмеялся:

– Даже так?

– Именно так... Угрозыск в школе – это всегда тревожно... Что вас к нам привело?

– Самсонов.

– Леонид?

– Да.

– Что-нибудь по поводу собаки?

– Нет. Он участвовал в вооруженном ограблении приходной кассы.

Лев Иванович поднялся. Секунду он стоял молча, а потом спросил:

– Когда это было?

– Позавчера в четыре.

– Тут не может быть ошибки?

– Нет. Мы ищем его. Вы ничего о нем не знаете?

Лев Иванович долго молчал, прежде чем ответить. Сегодня утром Ленька позвонил ему и сказал, что хочет прийти и поговорить. Лев Иванович назначил ему ровно на четыре. Ленька и раньше бывал у него, но всегда без звонка. Просто приходил, и старику не было скучно сидеть с ним вечера напролет. Парень был напичкан поэзией, и его стихи казались Льву Ивановичу талантливыми, совсем не школьными и не детскими.

– Нет, – ответил он наконец, – я ничего о нем не знаю.

– Самое худшее заключается в том, – сказал Росляков, – что парень украл у отца оружие. Он как волчонок сейчас.

– Раскаяние и чистосердечное признание... Добровольная отдача себя в руки властей – это учитывается юрисдикцией или сие формальность? – спросил Лев Иванович.

– Учитывается, – ответил Росляков, внимательно поглядев на учителя. – Сие по новым временам – не формальность, смею вас уверить...

Ленька пришел к Льву Ивановичу ровно в четыре. Старик негромко крикнул из комнаты:

– Ты ноги, пожалуйста, вытри, я сегодня натер пол!

Ленька стоял в коридоре большой коммунальной квартиры возле открытой двери Льва Ивановича. Он стоял, закрыв глаза, устало опустив руки вдоль тела, взъерошенный, осунувшийся и по-мальчишески еще нескладный. Несколько раз он собирался переступить порог, но каждый раз что-то удерживало его, и сердце гулко падало в груди, а кровь прилиwała к голове и щекам. Потом он вошел и сказал:

– Здравствуйте, Лев Иванович.

– Здравствуй, Леонид. Садись.

– Спасибо. Постою. В ногах правда.

– Скверное настроение? – спросил старик.

– Скверное. Хорошее какое слово – «скверное». Почему-то оно уходит из устной речи.

– Век требует более резких определений, да? «Дрянное» – это, по-видимому, точнее?

– В моем положении – да.

– А что случилось?

– Да ничего особенного... Так, глупость...

– У нас сейчас с тобой идет разговор по принципу: язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли, не так ли?

– Вроде бы...

– Жаль. Надо быть всегда искренним. Как Достоевский. По-моему, он самый искренний человек из всех искренних.

– Он был жестоким.

– Есть жестокость и жестокость. Важно, на чем она зиждется.

– Можно ли оправдывать жестокость, Лев Иванович?

– Можно. Восторгаются ведь Желябовым, Перовской и Кибальчицем, которые убили императора Александра Второго, а ведь он, по отзывам некоторых современников, был, я бы сказал,

обаятельным человеком. Понимаешь? Жестокость Желябова была жестокостью правды во имя доброты.

– А жестокость по отношению к человеку, совершившему глупость?

– Какую глупость?

– Просто глупость. Обыкновенную глупость.

– Видишь ли, человек, совершающий обыкновенные глупости, либо психически нездоров, либо предельно эгоцентричен. По-видимому, надо очень четко и честно определять людские поступки, и тогда то, что нам кажется глупостью, может на поверку оказаться либо преступлением, либо узкомыслием. Узкомыслие в больших вопросах – также преступно. И в общегосударственных и в человеческих.

– А если преступление рождено глупостью?

– Оно так же ужасно, как и рожденное умом. Тут разница только в степени жестокости. Кстати, иной раз преступление, продиктованное глупостью, бывает более жестоким, нежели рожденное умом. И то и другое должно быть наказуемо.

– Но преступление не принесло никому никакого вреда.

– Так не бывает. Преступление, даже не совершенное, а задуманное, уже породило преступника.

– Вы учили меня честности в поэзии, Лев Иванович...

– Не может быть честности в чем-то. Это не честность, если она частична. Честность должна быть генеральным качеством человека.

– Лев Иванович...

– Да.

– Знаете, наверное, мир все-таки ужасно устроен.

– Чепуха. Он устроен логично, а потому – прекрасно.

– Логична геометрии, – сказал Ленька, – а что в ней прекрасного?

– Мы же говорим о мире, а не о геометрии...

– Лев Иванович...

– Слушаю тебя...

– Можно, я попью воды?

– Конечно.

Ленька ушел на кухню, и старик услышал, как он пустил воду из крана. Учитель знал, что Ленька всегда подолгу ждет, пока сойдет теплая вода и пойдет студеная, «из земли». Потом он услышал, как Ленька стал пить воду. Он пил ее прямо из-под крана, чмокая губами. Потом стало тихо, и только несколько капель звонко разбились в раковине.

«А ведь это все какая-то дикость, – подумал Лев Иванович, – наваждение...»

Этот не знает

Тюрин – выпускник той школы, где учился Ленька, – сидел дома и чертил хитрый курсовой чертеж. Он услышал протяжный звонок и пошел открывать дверь.

– Кто там?

– С Мосгаза.

Он открыл дверь, впуская Костенко, и сказал:

– Только извините, я в трусах.

– В трусах – не в бюстгальтере, – ответил Костенко, – переживу.

Тюрин засмеялся.

– Веселый Мосгаз, заходите...

– Я тягу проверить, – сказал Костенко.

– Тянет хорошо.

– Порядок есть порядок.

Тюрин притащил лесенку, поставил ее к ногам Костенко и вернулся к своей чертежной доске.

– Вы б поддержали меня, а то загремлю, – попросил Костенко.

– Вы долго будете тягу смотреть?

– Тягу не смотрят, ее чувствовать надо...

– Тяга – она, как говорится, и есть тяга...

Костенко взобрался на лестницу, продолжая ворчать:

– Сейчас в двести сорок девятой был, так лесенку попросил, а хозяйка меня обругала.

– Людмила Аркадьевна?

– А бог ее знает... Фифочка.

– Женщина с характером. Кого угодно доведет.

– Это уж я не знаю, а меня она довела. А сама стоит и плачет.

– Из-за Леньки...

– Это кто? Хахаль?

– Сын.

– Женился?

- Из дому сбежал.
 - Куда?
 - Я думаю, куда-нибудь в Сибирь подался.
 - А почему в Сибирь?
 - Я там в экспедиции был, с ума сойти, как здорово, ему кое-что рассказал, так он мне потом говорит: «Сбегу к чертовой матери».
 - В той комнате у вас стена капитальная?
 - В столовой?
 - Да. Там, где дверь закрыта.
 - Не знаю. Вы сами посмотрите.
- Костенко зашел во вторую комнату, постучал по стене, быстро огляделся, увидел большой стол, маленькую горку для посуды и несколько стульев. Ленки там быть не могло. Он вышел в коридор.
- Придется еще прийти к вам, – сказал Костенко.
 - Только пораньше приходите, а то я в институте, мамаша на фабрике, дом пустой.
 - Ясно. Мне к этой дамочке снова надо идти, а душу выворотит. Дождусь, пока ее парень вернется.
 - Ленка? Он не вернется.
 - Неужто мать не жалко?
 - Нет, жалко, конечно... Родители как-никак.
 - Если он письмо вам черкнет, сказали бы матери-то...
 - Думаете?
 - Точно. Переживает – лицо как свекла стало. А что вы, друг ему?
 - Друг не друг, а товарищ.
 - Ну, пока.
 - Всего хорошего.
 - Так наши еще раз зайдут.
 - Хорошо. Только утречком.
 - Ясно. До свидания.
 - Счастливо.

Леньке плохо

Людмила Аркадьевна стояла в спальне у окна и плакала. Оперативник из отделения сидел около телефона. Телефон молчал. Самсонов полулежал в кресле. Рядом с ним был Росляков.

– Алексей Алексеич, – сказал он, – вы не можете вспомнить, как у вас прошел позавчерашний день?

– Вас интересую я?

– Меня интересует все.

Самсонов отвернулся к окну.

«Позавчера, – вспоминал он. – Что же было позавчера? Днем я был в Министерстве финансов. Потом вернулся в институт. Это было, кажется, часов в пять...»

Он чувствовал усталость во всем теле. Ему было больно пошевелиться. Он слышал, как в приемной секретарша печатала на машинке. Стук клавишей казался ему оглушительным грохотом. Самсонов нажал кнопку вызова секретаря и услышал, как в приемной пронзительно и тревожно зазвенел звонок. Стук клавишей сразу же прекратился, зато громко и быстро затопали каблучки. Он поморщился.

Вошла секретарша и улыбнулась дурацкой киноулыбкой.

«Откуда это у нее? – подумал Самсонов. – Такая славненькая, а улыбается, как звереныш».

– Вы звали меня?

– Да. У вас еще много работы?

– Пять страниц.

– Хорошо. Только, пожалуйста, подложите что-нибудь под машинку. Она ужасно гремит.

...Из своего кабинета Самсонов ушел около десяти, когда все цифры и выкладки, необходимые для завтрашнего совещания по проекту, были им выверены по несколько раз. Он отпустил шофера и пошел домой пешком. Он шел и чувствовал, как в затылке у него снова нарастала боль; он ощущал, как боль растекалась по всему

телу, проникала в позвоночник, в предплечья, в пальцы и в кончики ногтей.

Около самого дома эта проклятая боль, доставшаяся ему в наследство от контузии, стала невыносимой. Он остановился и, прислонившись к стене, замер. Потом начал осторожно массировать виски. Какой-то паренек, проходивший мимо, спросил:

– Вам плохо?

– Немножко, – ответил Самсонов сквозь зубы.

– Тут в гастрономе воду продают.

– Спасибо, – сказал Самсонов и пошел в гастроном.

Он выпил стакан нарзана, и в голове у него зазвенело тонко-тонко, будто в тайге весной, когда много мошки. Самсонов очень любил это время в тайге. Он полюбил его с сорокового года, когда проектировал дорогу от Магадана к прииску Стремительному.

Когда он вошел в квартиру, Людмила Аркадьевна сидела посередине столовой в вечернем платье. Глаза у нее были красные и злые.

«Черт, ведь сегодня мы должны были идти в театр, – сразу же вспомнил Самсонов и похолодел. – Сейчас начнется...»

– Людочка, – сказал он тихо, – я совсем замотался, прости меня.

Людмила Аркадьевна молчала.

– Я готовился к завтрашнему совещанию у...

Она перебила его:

– У какой-нибудь очередной бабы?

– Как тебе не совестно!..

– Это ты мне говоришь о совести? Я целыми днями стою у плиты, мне опротивело все это!

– Пойди работать.

– Негодяй!

– Ну вот...

– Ты исковеркал всю мою жизнь, понимаешь? Я готовила тебе еду, гладила рубашки и воспитывала твоего сына! А ты шатался, где хотел! А мне уже сорок!

– Здесь же Ленька...

– Он взрослый мальчик, он все понимает!

Самсонов махнул рукой и начал снимать галстук. Потом он пошел в спальню.

– Как мартовский кот, – продолжала говорить Людмила Аркадьевна, – напакостил – и дал деру!

– Это мы так воспитываем сына?

– Ты еще издеваешься надо мной!

– Миронова и Менакер. Театр миниатюр.

Самсонов захлопнул дверь и лег на тахту. Людмила Аркадьевна распахнула рывком дверь, стала на пороге и сказала:

– Если ты сейчас же не прекратишь своих безобразий, я... я...

– Повесишься, – устало отозвался Самсонов, – знаю, слышал.

– Мальчик, – крикнула Людмила Аркадьевна, – послушай, как глумятся над твоей матерью!

Ленька медленно вышел из самсоновского кабинета. Самсонов заметил, что лицо у парня белое, с синяками под глазами.

– Что с тобой?

– Это ты доводишь его до болезни! – крикнула Людмила Аркадьевна.

– Что с тобой? – повторил Самсонов, поморщившись.

– Ничего, – ответил Ленька, – просто я вас ненавижу...

И – ушел из дому.

Самсонов обернулся к Рослякову и сказал:

– В общем-то, ничего особенного позавчера не произошло.

– Ссоры дома никакой не было?

– А это, пожалуй, наше личное дело.

– Если бы не ограбление приходной кассы.

– Вы проводите связь между этими событиями?

– Я пока, Алексей Алексеевич, ничего не провожу. Я пока спрашиваю...

- Ну дальше? – попросил Лев Иванович.
 - А дальше я хотел все рассказать отцу.
 - Почему не рассказал?
 - Да так...
 - Это не ответ. Тебя спросят об этом в участке.
 - Где?
 - В милиции. Ты должен помочь им абсолютной правдой, понимаешь, Леонид? Абсолютной, если хочешь – геометрической правдой.
 - Ну, в общем, им было не до меня.
 - Кому?
 - Отцу. Матери.
 - Какая-нибудь семейная неурядица?
 - Да.
 - Пустяк. В семье могут быть трения, но тебя это никоим образом не касается.
 - Если восемь лет одно и то же, – касается, Лев Иванович. Я и стихи от тоски писать начал.
 - Это, Леонид, неправда. Стихи от тоски не пишутся. А если и пишутся, то выходят они наиотвратительнейшими.
 - «Я помню чудное мгновенье...» не с радости написано.
 - Верно. Оно – от грусти. Но тоска – нечто совершенно грусти противоположное. Тоской в прошлые годы институтки страдали. Но об этом после. Ты знаешь, куда надо ехать?
 - Да.
 - По-видимому, тебе хотелось бы, чтобы мы поехали вместе?
 - Что вы, Лев Иванович...
 - Ну, полно.
 - Лев Иванович, можно мне вас попросить?
 - Пожалуйста.
- Ленька достал из кармана плоский «вальтер» и положил его на стол.
- Что это?

– Пистолет моего отца. Если я его привезу туда с собой, я подведу отца. Понимаете?

Лев Иванович пожевал бороду, откашлялся и спросил:

– Ты стрелял из него?

– Нет.

– Нельзя говорить половину правды, Леонид. Тогда лучше не говорить вовсе.

– Я же подведу человека.

– Ты уже его подвел. Поехали. Забери эту вещь в карман, я не смогу выполнить твоей просьбы, как мне это ни больно...

– Вы меня учили добру, Лев Иванович. А какое же будет добро, если я подведу отца – ни в чем не виноватого человека?

– Я не хочу сейчас казаться моралистом, Леонид. Только я очень верю: ты должен отнести им этот револьвер.

Ленька усмехнулся и сказал:

– Знаете, не надо вам ехать со мной.

– Отчего так?

– Я не хочу, Лев Иванович. Вы даже можете к ним позвонить и вызвать их сюда, а пока запереть дверь на ключ. Телефон – ноль два, добавочный – дежурного. Все очень просто.

– В тебе сейчас говорит нечто незнакомое мне.

– Во мне сейчас ничто не говорит, Лев Иванович. Сейчас во мне все визжит и трясется, потому что я иду в тюрьму. Иду в тюрьму за глупость, понимаете, Лев Иванович? Иду в тюрьму, где сидят жулики и убийцы, насильники и растратчики! А я иду туда с вашими наставлениями о добре и со своими стихами, понимаете вы?!

– Успокойся...

– Успокаиваются, когда есть что успокаивать! А у меня нечего успокаивать! Я обманывал и себя и вас, когда только что говорил о стихах, и о «чудном мгновенье», и добре, и зле! Я слышу сейчас только одно слово: тюрьма! тюрьма! И больше ничего! Я пустой совсем! Нет меня! Нет! Нет! Нет!

– Леонид, я прошу тебя выслушать то, что я скажу. У меня было два сына: комбриг Страхов и полковник Страхов. Они погибли в тридцать седьмом году вместе с Тухачевским. Я тоже тогда думал, что мир кончился, что я пустой, что меня больше нет, что я никогда и никому больше не смогу принести добра или сделать зло. Но ведь я жив. Но ведь я уже двадцать пять лет после этого читаю вам Пушкина и Достоевского!

– Это к тому, что человек живуч! Так, Лев Иванович?

– Уходи, – сказал старик. – Мне неприятен разговор с тобой.

– Прогнать всегда легко. И вы же остаетесь победителем. И еще: ваши сыновья были героями, а я в шестьдесят втором, – негодяй и дурак. Не надо проводить таких сравнений, они оскорбляют память ваших детей. До свиданья, Лев Иванович.

Ленька поднялся и пошел к двери. Открыв ее, он оглянулся и увидел старика – сутулого, в заплатанной парусиновой толстовке, среди книг и карандашных рисунков, рядом с поломанной тахтой, укрытой порыжелым одеялом, прожженным в нескольких местах папиросами.

У Леньки затряслись губы... Он вдруг вспомнил те долгие вечера, когда старик сидел с ним и читал ему стихи, когда он, радуясь, жарил яичницу с луком и пел греческие песни; когда он помогал ему решать проклятые геометрические задачи; когда он спасал его перед директором за все те штуки, которые Ленька проделывал. Он вспомнил, как старик приглашал его в театры и ужасно конфузился из-за того, что у него были рваные ботинки, и поэтому не вставал с кресла и не выходил в фойе. Все это вспомнил Ленька, и лицо его тряслось все больше и больше, а старик стоял молча и не смотрел на него, а только быстро моргал глазами и все время поводил головой, как лошадь, которой трет хомут.

Ленька бросился к старику, прижался к нему и стал повторять:

– Не сердитесь. Лев Иванович, не сердитесь, пожалуйста, не сердитесь, Лев Иванович, не сердитесь только, миленький...

Старик погладил его по голове и тихо сказал:

– Поехали, Ленечка. Я на тебя не сержусь.

Алиби – Хлебников

«После того как меня отпустили из милиции, куда я был отправлен завучем из-за бульдога, я пошел в школу, но там завуч сказала мне, что я из школы исключен и к экзаменам на аттестат зрелости допущен не буду. Это было как гром среди ясного неба. Я вышел из школы и долго думал: что же сейчас надо делать? Сначала я подумал, что надо пойти к отцу и все ему рассказать, но потом я вспомнил, что он последний месяц был занят очень сложной работой, и решил, что этот сюрприз ему не очень-то поможет. Льва Ивановича Страхова, с которым я хотел посоветоваться, в школе не было, дома – тоже. Тогда я пошел по улице. Я шел и думал, что же предпринять. Настроение у меня было отвратительное. Около гастронома № 17 я остановился, потому что вспомнил, что у меня в классе осталась книга Фадеева «Молодая гвардия» и в ней расчетная книжка за коммунальные услуги. Утром мне мать дала денег и попросила после школы уплатить за квартиру. Я вернулся в школу и попросил нянечку, тетю Катю, вынести мне книгу. Она мне книгу вынесла. Я спросил ее, где бульдог. Она ответила, что за ним пришел хозяин. Хоть здесь-то обошлось, подумал я, потому что бездомный пес в городе – это очень тяжкое зрелище. Я бульдога нашел на улице, он бегал и скулил. Он еще щенок, и я решил, что его нельзя оставлять на улице. Поэтому я его привел с собой в класс. Без всяких хулиганских целей. Я думал, что он будет спокойно сидеть.

Потом я снова ходил по улицам, не зная, что предпринять, и около того же гастронома я встретил двух молодых людей, которые предложили мне присоединиться к ним на пол-литра. У меня были деньги на квартплату, и я решил вместе с ними выпить, потому что настроение было отвратительное и положение – безвыходное. Мы выпили бутылку водки без закуски. Потом я купил еще одну бутылку, мы и ее выпили; я очень опьянел и стал читать моим знакомым стихи. Имен я их не знаю. Тот, что был повыше, в кожаной куртке,

называл своего приятеля обезьяньим именем «Чита». Чита – невысокого роста, в сером костюме, русоволосой, а глаза у него очень большие и темные, почти без зрачков. Что было потом, я плохо помню. Кажется, мы еще раз пили водку. Помню, когда я декламировал Есенина: «Я читаю стихи проституткам и с бандитами жарю спирт», – они стали обнимать меня и целовать. Это я запомнил очень ясно, потому что я всегда запоминаю, как и кто реагирует на стихи. Потом еще, я припоминаю, они пели песню. Если возникнет надобность, я ее, наверно, смогу припомнить и написать в дополнение к протоколу допроса. Отрезвел я, когда они закрыли дверь кассы и длинный, в кожаной куртке, вытащив наган, сказал: «Руки вверх! Ни с места!» Тут я сразу же отрезвел и очень испугался. Я попятился к двери, но тогда Чита достал финку и сказал мне: «Иди к окну». Я отошел к окну. У меня затряслись руки от страха, и я положил книгу Фадеева на стол; по-видимому, тогда из книги выпала расчетная книжка за коммунальные услуги. Когда я отходил к окну, кто-то из работников кассы сказал: «Вы с ума сошли! Это же грабеж!» Длинный что-то крикнул, но в это время зазвенел звонок. Длинный выстрелил и побежал к двери, следом за ним кинулся Чита. Потом убежал я. Куда я бежал – не помню. Знаю только, что долго стоял в каком-то парадном и меня сильно тошнило. Я очень долго стоял в парадном, дожидаясь темноты. Там, помню, был автомат, и я, чтобы не вызвать подозрений, почти все время держал трубку около уха, когда слышал шаги на лестничной клетке. Да, еще помню, что, когда мы подходили к кассе, длинный сказал: «Витька – б... оставил нас без колес». Кто такой Витька и что значит «колеса», не знаю, и разговора об этом больше не было.

Вернувшись домой, я вымылся в ванной и стал дожидаться отца. Но он пришел поздно, и в силу некоторых домашних причин я ему рассказывать ничего не стал, чтобы еще больше не нервировать. Зачем я похитил его пистолет, объяснять сейчас не буду, потому что если бы даже и объяснил, то вы, естественно, вправе мне не поверить. Вот и все, что я могу сказать. Написано мною

собственноручно. Леонид Самсонов».

Садчиков, прилетевший из отпуска, прочитав показания Ленки, написал на листке бумаги: «Пусть Валя пройдет по кличке Чита. Свяжется с отделениями. Кличка заметная, участковые должны знать».

– По всем отделениям? – негромко спросил Костенко.

– А что д-делать? Надо по всем.

– Хорошо. Я схожу позвоню к дежурным.

– П-правильно. Пусть они тоже в-вспомнят. С-сдается мне, что этот Чита проходил через дежурную часть по какому-то х-хулиганству.

– Я посмотрю.

– Чита – это уже зацепка. О-очень хорошая з-зацепка, поверь мне.

– Я верю.

– Н-ну извини, – усмехнулся Садчиков.

– Да нет, пожалуйста, – ответил Костенко и подмигнул Ленке.

– Это п-присказка у нас такая, – объяснил Ленке Садчиков. – Ш-шутим мы, понимаешь?

Из научно-технического отдела принесли «вальтер» Самсонова.

– Из этого пистолета не стреляли, – сказал эксперт. – Пробный выстрел дал отрицательный ответ: в касе стреляли из другого пистолета.

– Благодарю вас, – сказал Садчиков.

Он перечитал показания Ленки еще раз, отложил их в сторону и спросил:

– Ты сегодня ж-жевал что-нибудь?

– Мне не хочется.

– А я пом-мираю от голода. Слава, – попросил он Костенко, – может, ты сходишь в гастроном?

– Что купить?

– Возьми к-колбаски и плавленых с-сырков.

– У меня от них скоро судороги начнутся, – сказал Костенко. – Была бы плитка – пельменей сварили.

– Спроси Льва Ивановича, – сказал Садчиков, – старикан тоже, наверное, г-голоден. Кстати, где Росляков?

– Я его отпустил до двенадцати.

– Ну х-хорошо. Иди за сыром.

– Иду.

– Послушай-ка, Леня, – сказал Садчиков, поднявшись из-за стола, – давай вместе с тобой в-вспоминать все то, что говорили те д-двое. По отдельным словам, по выражениям. Ты же поэт, напрягись. Кстати, ты рассказы Чапека любишь?

– Очень.

– Помнишь, «О шея лебеда, о грудь, о барабан!»? Это когда поэт помог сыщикам установить номер машины по своим хитрым ассоциациям... Помнишь эт-тот рас-сказ?

– Помню. А вы что, Чапека читали?

– Нельзя?

– Нет, можно, конечно, только я думал...

– Ясно. М-можешь не договаривать. Ты, кстати, куришь?

– Нет.

– Правильно делаешь. Я б-бросил – разжирел, снова пришлось начать.

– Скажите, а меня надолго посадят?

– Сложный в-вопрос. Я пока тебе ничего на него не отвечу и ничего не буду обещать. А в-вот ответь мне, пожалуйста, что ты делал восьмого мая?

– Восьмого? Это какой день?

– Суббота.

– Учился. Потом мы уехали на дачу.

– Когда кончились уроки?

– У нас в субботу пять уроков. Значит, около часа. А потом мы еще с Львом Ивановичем ходили в букинистический. За томиком Хлебникова.

– Это что, зиф-фовское из-здание?

– Да.

– А что ты делал двенадцатого мая? Около шести.

– Не помню.

– Надо вспомнить.

– Вы думаете, я не все вам сказал? Почему вы спрашиваете меня про эти дни?

Садчиков подошел к Леньке, остановился прямо перед ним и, раскачиваясь с носка на пятку, сказал:

– Я спрашиваю т-тебя потому, что именно в эти дни бандиты совершали грабежи. Я бы не спрашивал т-тебя об этом, если бы сейчас был день. Просто мы бы вызвали сюда тех людей, которые видели грабителей, и предложили им о-опознать тебя. Понимаешь, какие пироги? Так что тебе ф-финтить нет резону, если что было, давай все в открытую...

– Какой смысл мне тогда было самому приходить к вам? Я ведь сам пришел к вам... Никто меня не тащил... Какой смысл?

– Никакого, – согласился Садчиков. – Пожалуй, н-никакого... Ладно... Посиди, сосредоточься, постарайся вспомнить детали...

Костенко вернулся с покупками.

– Духотища, – сказал он, – не иначе как к грозе.

– Сейчас я вернусь, – сказал Садчиков, – а вы п-пока закусывайте.

Костенко развернул пакет, разложил на столе сыр и колбасу, налил в стакан воды и подвинул Леньке.

– Поешь, – предложил он, – а то, наверное, кишка на кишку протокол пишет.

– Уже написан. Только не на кишку.

Костенко хмыкнул.

– А ты нос не вешаешь. Молодец. Где ночевал эти два дня?

– На вокзале.

– На каком?

– Сначала на Казанском, а потом на Ярославском.

– Что, в Сибирь хотел отправиться?

- Откуда вы знаете?
- Мы, дорогой, все знаем. Работа такая.
- Вернулся Садчиков и спросил Леньку:
- Слушай, а вы Хлебникова к-купили?
- Купили.
- А еще что купили?
- Еще? Подождите, что-то мы еще купили... А, вспомнил, Бабея! «Конармию». И, по-моему, «Максимы» Ларошфука.
- Ну, слава богу, эт-то, вроде, сходится.
- Что, с первого дела отпадает? – поинтересовался Костенко.
- Вроде да, – ответил Садчиков. – Ты, Леня, не стесняйся, налетай на пищу. Сырки ешь – они м-мягкие... Что-нибудь про т-тех вспомнил?
- Вспомнил. Чита говорил: «Сейчас бы блинчиков в «Астории» пожрать». Это когда у нас закуски не было.
- Пожрать – значит п-поесть?
- Да. Но это ведь не я. Вы просили вспомнить детали... Это Чита так говорил...
- Великий и могучий, – вздохнул Костенко, – благозвучный и прекрасный русский язык! Мордуют, беднягу, со всех сторон. Да здравствует Солоухин, хоть и достается бедняге...
- А зачем же ты все-таки утащил у отца пистолет?
- Ленька взял кусок колбасы и начал быстро жевать. Он съел кусок, запил его водой и ответил:
- Стреляться хотел. А как дуло в рот вставил, так со страху чуть не умер. Даже вынимать потом боялся; думал, не выстрелил бы.
- Костенко и Садчиков засмеялись. Ленька тоже хмуро усмехнулся, а потом сказал:
- Это сейчас смешно... Вы меня что, сразу в камеру посадите?
- А как ты думаешь?
- Не знаю...
- А все-таки?
- Наверное, придется.

– В том-то и дело. Сулить мы нич-чего не можем, но, если т-ты сказал всю правду, не исключено, что тебя до суда отпустят.

– Домой?

– Не в Сибирь же, – ответил Костенко.

В дверь постучались.

– Да!

Вошел Лев Иванович.

– Прошу меня извинить... Но уже довольно-таки поздно... Мальчику надо завтра рано вставать... Вы разрешите нам уехать?

– Вам – да.

– А ему? Он ребенок. И потом это нелепость, поверьте мне.

– Лев Иванович, – сказал Костенко, – а что случится, если вы сейчас вместе с ним или он завтра один встретите на улице тех двух? Убийц и грабителей? Он ведь свидетель, его убирать надо. Понимаете?

– Но почему вы думаете...

– Чтобы потом его папа с мамой не плакали, только для этого именно так я и думаю.

– Лев Иванович, – сказал Ленька, – спасибо вам. Вы не беспокойтесь. Вы поезжайте спать, а то уже поздно...

– Завтра мы вам позвоним, – пообещал Костенко.

– Днем... Ч-часа в два...

– Это же непедагогично... Сажать в тюрьму мальчика...

Садчиков нахмурился.

– Знаете, о п-педагогике лучше все же н-не надо. Момент не тот.

...Через час приехал Самсонов.

– Где мой сын? – спросил он по телефону из бюро пропусков. – Я прошу свидания с ним.

Ленька спал на диване, укрытый плащом Садчикова. Костенко тихо сказал в трубку:

– Он спит.

– Я прошу свидания! Поймите меня, товарищи! Вы должны понять отца! Хоть на десять минут... Хоть на пять! У вас ведь тоже есть дети!

– Тише, вы! – попросил Костенко. – Не кричите. Нельзя сейчас парня будить, он и так еле живой. Завтра. Приезжайте утром. Часам к десяти кое-что прояснится...

И положил трубку. Посмотрел на Садчикова. Тот отрицательно покачал головой.

– Думаешь, нет? – спросил Костенко.

– Думаю, нет. Он больше ничего не знает. Или мы с тобой старые остолопы.

– Также, кстати, возможный вариант. Ну что ж, давай писать план на завтра?

– Давай.

– Черт, нет плитки!

– Пельменей тоже нет.

– Я о чае.

– Г-гурман...

– А что делать?

– Ну, извини, – пошутил Садчиков.

– Да нет, пожалуйста, – в тон ему ответил Костенко.

Вторые сутки

Вышли на Читу

Утром в кабинете у комиссара сидели четыре человека: Самсонов, Лев Иванович, Садчиков и – возле окна – Ленька. Он неторопливо и глухо рассказывал комиссару все по порядку, как было записано им вчера, начиная с бульдога...

...У каждого человека бывают такие часы, когда нечто, заложенное в первооснове характера, напрочь ломается и уходит. Именно в те часы рождается новый человек. Обличье остается прежним, а человек уже не тот. Комиссар вычитал, что Гегель где-то утверждал, будто форма – это уже содержание. Сначала ему это понравилось. Он даже не мог себе толком объяснить, почему это ему так понравилось. Он вообще-то любил красивое. Он очень любил красивых людей, красивую одежду, красивые зажигалки. Однажды он отчитал одного из опытнейших стариков сыщиков, когда тот, сердито кивая на молодых оперативников, одетых по последней моде, сказал: «Выглянешь в коридор – и не знаешь, то ли фарцовщик на допрос идет, то ли оперативник из новеньких...» Комиссар тогда очень рассердился: «Хотите, чтобы все в черном и под одну гребенку? Все чтоб одинаково и привычно? Времена иные пришли. И слава богу, между прочим. Красоту надо в людях ценить, для меня, душа моя, нет ничего великолепнее красоты в человеках». Любил комиссар и красиво высказанную мысль. Наверное, поэтому ему сразу очень понравились гегелевские слова. Но потом в силу тридцатилетней укоренившейся привычки к каждому явлению возвращаться дважды и, перепроверив, еще раз проверить он вечером по обыкновению долго стоял у окна и курил. Он вспоминал старого вора Голубева. Опытнейший карманник вернулся из заключения и заболел воспалением легких. Он не думал бросать свое ремесло. Он лежал и злился, потому что поднялась температура

и надо было покупать пенициллин, после войны он был очень дорогим, а денег не было. Тогда старуха мать продала свою шубейку и поехала к знакомым, которые достали драгоценное лекарство. В троллейбусе у нее срезали сумочку. Старуха вернулась домой вся в слезах, а продавать было уже нечего, и Голубев тогда еле выкарабкался. Выздоровев, он пришел в управление, к комиссару, и сказал:

– Берите меня к себе, я их теперь, подлюг, терпеть ненавижу до смерти.

– Грамматика у тебя страдает, – сказал комиссар. – Некрасиво говоришь, Голубев, как дефективный ты говоришь – «терпеть ненавижу»... Учиться тебе надо... А что на своего брата взъелся?

– Есть причина, – сказал Голубев. – Их душить надо. Псы, нелюди, паразиты, стариков обижают, я их маму в упор видал.

Комиссар помнил его таким, каким он был три года назад, перед арестом. Те же наколки, то же квадратное лицо, те же губы, разбитые в драках, те же оловянные «фиксы» и та же челочка. Все, вроде бы, то же, а человек перед комиссаром сидел уже другой. Тогда комиссар улыбнулся и подумал: «Форма – уже содержание? Дудки, милый Гегель. Загнул ты здесь, дорогой».

Вот так и сейчас, глядя на Леньку, он внутренним своим чутьем понимал, что парень изменился, что в нем сломалось нечто определявшее его раньше. Комиссар это видел и по тому, как на Леньку смотрел его отец, и по тому, как прислушивался к его голосу Лев Иванович, и еще по тому, как Садчиков переглядывался с парнем, когда тот замолкал.

– Ну, – сказал комиссар, – это все хорошо. Но ты объясни мне, как же мог с ними пойти на грабеж? Растилкуй – не понимаю...

– Я этого растолковать не смогу, товарищ комиссар. Я сам не понимаю...

– Потому что был пьяный?

– Да.

– А я и не прошу, чтоб ты в себе – в пьяном – копался. Ты мне по трезвому делу объясни. Вот сейчас, как ты это объяснить можешь? Постарайся на все это дело посмотреть со стороны.

– Бывают провалы памяти...

– Ты думаешь, у тебя был провал?

– Да.

– Плохо дело, если провал. Так вообще загреметь недолго, если оступишься... Громко можно загреметь, мил душа, надолго.

– Так я уже...

– Уже ты дурак, – сказал комиссар. – Если, конечно, не врешь нам. А когда оступаются, становятся преступниками. Тут разница есть, серьезнейшая, между прочим, разница. В дверь постучались. Лев Иванович вздрогнул. «Волнуется старик, – отметил комиссар, – на Дон Кихота похож. Такой же красивый... Пронзительную какую-то жалость к таким чистым людям испытываешь... Именно – пронзительную».

– Разрешите, товарищ комиссар? – заглянув в кабинет, спросил Росляков.

– Прошу.

Росляков подошел к столу и, положив перед комиссаром небольшую картонную папку, раскрыл ее торжественным жестом фокусника.

– Садитесь, – сказал комиссар и начал рассматривать содержимое картонной папки. Он что-то медленно читал, раскладывал перед собой фотокарточки, словно большой королевский пасьянс, разглядывал, чуть отставив от себя – как все люди, страдающие дальновзоркостью, – дактилоскопические таблицы, а потом, отложив все в сторону, попросил:

– Ну-ка, Лень, ты мне Читу опиши. Только с чувством, как в стихах.

– Я б его в стихах описывать не стал.

– «Социальный заказ» – такой термин знаешь? Проходили в школе?

– Проходили, – улыбнулся Ленька. – Черный, лицо подвижное, рот толстогубый, мокрый, очень неприятный, как будто покрашенный. На лбу, около виска, шрам. Большой шрам...

– Продольный?

– Да.

Комиссар снова начал разглядывать содержимое папки, сортировать документы, разглядывать таблицы через лупу, а потом взял со стола карточку, поднял ее и показал Леньке:

– Этот?

– Этот, – сказал Ленька и поднялся со стула, – это Чита, товарищ комиссар.

Через час две «Волги» остановились в Брюсовском переулке. Из машины вышли пять человек. Двое остались у ворот, а Садчиков, Костенко и Росляков вошли в большой гулкий двор. Садчиков шел по левой стороне двора и насвистывал песенку. Росляков со скучающим видом, вразвалочку шел посредине. Он шел, не глядя по сторонам, и гнал перед собой пустую консервную банку. Она звенела и громыхала, потому что двор был тесный, стиснутый со всех сторон кирпичными стенами домов.

Костенко шел по правой стороне, хмурый и злой. Утром он снова был на приеме в исполкоме по своим квартирным делам. Костенко жил в покосившемся деревянном домике на Филях, в девятиметровой комнате. Маша с Аришкой жили то у бабушки на Кропоткинской, то уезжали в деревню на все лето, пока у Маши были каникулы. Но она в следующем году должна была кончить университет, и тогда уезжать на три месяца будет нельзя.

Заместитель председателя исполкома знал Костенко – он ходил к нему уже второй год, и поэтому сегодня утром принял его особенно приветливо, усадил в кресло и угостил папиросами «Герцеговина-Флор».

– Знаю, знаю, – сказал он, – в ближайшее время поможем. Вы поймите положение, товарищ... Трудное у нас положение, очередь-

то громадная...

– Я – первоочередник, а уже два года все это тянется. То одних вместо меня пускают, то других... Непорядок получается... Всякому терпению приходит конец – рано или поздно...

– Вы работник органов, товарищ Костенко, сознательности у вас побольше, чем у других. Так что не надо бы вам о терпении...

– У меня ведь дочке три годика, товарищ дорогой... Когда все-таки квартиру дадите?

– Зимой, – сказал зампред и что-то пометил у себя на календаре толстым красным карандашом, – обязательно зимой.

– Так ведь и в прошлом году вы обещали дать зимой...

– Я помню, – поморщился заместитель председателя и сухо закончил: – Можете в конце концов написать на меня жалобу.

Поэтому Костенко шел хмурый и злой. Он думал о том, куда девать Машу и Аришку осенью; он думал о том, что снова придется жить у тещи или ворочаться с боку на бок в своей одинокой комнате, а утром, перед работой, заскакивать на пять минут туда, на Кропоткинскую, целовать в щеку жену, класть на кроватку Аришке конфету и уходить на весь день, до следующего утра.

– Мамаша, – спросил Садчиков лифтершу, – а у вас к-кабина вниз ходит?

– Еще чего! – ответила лифтерша. – Жильцы тогда в ней пианины будут спускать. Только вверх, а отсюда – одиннадцатым номером. Лестница покатая у нас, хорошая лестница, не грех и спуститься пехом...

– Костик не уходил сегодня?

– Из восьмой квартиры? Так он тут не живет уж месяц.

– У Маруськи, наверное? – спросил Росляков, быстро назвав первое пришедшее на ум женское имя.

– У него этих Марусек тыща. Поди узнай, у какой он дремлет.

– Уж и д-дремлет, – сказал Садчиков и открыл дверь лифта. – А ты, Валя, пешочком, по лестнице, она у них покатая...

Они остановились около восьмой квартиры. Негромко постучали в дверь. Никто не отозвался. Садчиков постучал громче. Где-то в соседней квартире было включено радио. Передавали концерт эстрадной музыки, и Садчиков заметил, как у подошедшего Вали Рослякова нога сама по себе стала выбивать такт.

– Иди в д-домоуправление, – шепнул Садчиков Костенко, – пусть шлют понятых и слесаря – взламывать б-будем.

Обыск в квартире, где жил Константин Назаренко, 1935 года рождения, холостой, без определенных занятий, судимый в 1959 году за хулиганство и взятый на поруки коллективом производственных мастерских ГУМа, где он работал в то время экспедитором, ничего не дал. Однокомнатная квартира была почти пуста, только вдоль стен стояли бутылки из-под коньяка и водки и пустые консервные банки, в основном рыбные.

Росляков начал списывать номера телефонов, нацарапанных на стене.

– Между прочим, одни женские имена.

– Это по твоей линии, – сказал Костенко. – В женских именах ты дока.

– Осторожнее на поворотах, учитель, – предупредил Росляков, – я стал обидчивым, работая под твоим началом.

– Ну, извини...

– Да нет, пожалуйста.

Они осмотрели всю квартиру – метр за метром, шкаф, стол, кровать, каждую щель, каждый кусочек плинтуса, каждую паркетину. Ничего из вещественных доказательств найдено не было.

Садчиков внимательно просмотрел телефоны, записанные на стене, и сказал:

– Попробуем, м-может, по ним выйдем на Назаренко, а?

– Поручи это Вальке, – предложил Костенко. – Подруги бандита заинтересуются молодым сыщиком.

К вечеру выяснилось, что телефоны женщин, записанные на стене карандашом, принадлежали подругам Читиной сестры Ксении, три

месяца назад выехавшей к мужу в Иркутское геологическое управление. Заниматься ими для дальнейшей проверки было поручено группе Дронова, а Садчиков, Костенко и Росляков начали «отрабатывать» связи Читы по Институту цветных металлов и золота, где он учился шесть лет назад, до того, как был отчислен за академическую неуспеваемость с третьего курса. На курсе учились сто шестнадцать человек. В той группе, где Чита специализировался по разведке серебряных месторождений, занимались восемь человек. Пятеро, получив распределение, разъехались по стране – в Сибирь, Киргизию и на Чукотку.

В Москве остались трое: Никодим Васильевич Гипатов, Владимир Маркович Шрезель и Виктор Викторович Кодицкий.

Гипатов

Он сидел дома в голубой, заглаженной пижаме, босиком и писал последнюю главу своей кандидатской диссертации. В комнате было тихо и прохладно. Только жужжал вентилятор, поворачивая пропеллерообразную морду то направо, то налево.

– Я из уголовного розыска, – сказал Росляков, – вот мои документы.

– Милости прошу...

– У вас в группе учился Назаренко? Константин?

– Назаренко?

– Да. Назаренко...

– Учился... Как же, как же...

– Вы его помните?

– «Кто не знает собаку Гирса?» – так, кажется, у Лавренева? Конечно, помню. Подонок.

– Это известно. Меня интересуют детали. Его друзья, привычки, его манера обращаться с людьми, его увлечения, страсти, странности...

– Из меня плохой доктор Ватсон.

– Да я и не Шерлок Холмс. Постарайтесь вспомнить о нем что можете. Это очень важно. Он преступник, скрывается. И вооружен. Нам сейчас каждая мелочь важна.

– Столько лет прошло... Трудно, как говорится, вспоминать.

– А вы через себя. Попробуйте вспомнить себя шесть лет назад. Друзей вспомните... Врагов... По Станиславскому: вызовите цепь ассоциаций.

Гипатов прищурился, взял со стула ручку и принялся писать на чистом листке бумаги только одно слово: «дурак, дурак, дурак» – строчку за строчкой через запятые, очень ровно и аккуратно. Он силился вспомнить Назаренко, но, как ни старался, ничего у него из этого не получалось, потому что вспоминалась ему первая

практика – в горах, на строительстве рудника, куда Назаренко не поехал, достав справку о временной нетрудоспособности в связи с гипотонией. Это Гипатов помнил точно; они еще все смеялись на курсе: живой гипотоник ходил по институту и жаловался на головные боли, а от него за версту несло водкой и духами. «Духи-то, кажется, были «Кармен», – вспомнил Гипатов. – Почему-то все пьяницы любят женские духи». Потом он вспомнил зеленый костюм Назаренко – тот всегда носил яркие костюмы и очень пестрые рубашки.

– Как говорится, ни черта не вызвал я ассоциациями, – вздохнул Гипатов, – кроме пустой лирики. Если бы он злодеем уже тогда был, или, наоборот, добрым гением, – другое дело. Запоминают заметных. А он был вроде амебы – полностью лишен какой бы то ни было индивидуальности...

– Плохо дело...

– А черт с ним, найдется, я думаю, а?

– Должен, конечно.

– Когда схватите – от меня привет. Он меня помнит, я ему рожу единожды бил. Товарищ был отменно трусоват.

– Чего же он боялся?

– Силы... Да, вспомнил. Он, если за девушкой ухаживал, любил с ней вечером мимо ресторанов ходить. Оттуда какой пьяный завалится – ну, такой, что на ногах не стоит, – он ему с ходу по морде. Девушки любят, когда с ними ходит сильный парень, в сильных быстрее влюбляются, да и боятся их... А Назаренко больше и не надо было. Я же говорю, подонок...

Шрезель

Он говорил страстно, с надрывом, но иногда замолкал и тяжело смотрел в одну точку, прямо перед собой, куда-то мимо Костенко. Руки у него были маленькие, толстые, удивительно женственные, только с обгрызенными ногтями. Он беспрерывно курил, но не гасил окурки в пепельнице, и они дымились, как благовония в храме.

– Понимаете, – вдруг снова взорвался Шрезель, – так мне трудно вспоминать! Предлагайте какой-нибудь вопрос, тогда у меня пойдет ниточка. Я люблю наводящие вопросы. Вы помогите мне вопросами, тогда я смогу понять, что вас интересует. Как человек серый, я самостоятельно мыслить не умею, только по подсказке, – он усмехнулся и повторил: – Только по подсказке... Но я просто не могу себе представить его в роли грабителя.

– Почему?

– Ну, теория квадратного подбородка, дегенеративного черепа и низкого лба, я это имею в виду. Ламброзо и его школа. Назаренко был красивым парнем, с умным лицом... И глаза у него хорошие...

– Тут возможны накладки. Ламброзо у нас не в ходу.

– Напрасно. По-моему, его теория очень любопытна. На Западе он в моде.

Костенко был по-прежнему зол – он трудно отходил после посещения исполкома. Поэтому он сказал:

– В таком случае я вынужден вас арестовать прямо сейчас. Как говорится, превентивно...

Шрезель засмеялся.

– За что?

– За Ламброзо. Он, знаете, как определяет грабителя-рецидивиста?

– Не помню.

– Могу напомнить, только не обижайтесь. Растительность, поднимающаяся по щекам вплотную к глазам, выступающая вперед нижняя челюсть, толстые пальцы, крючковатый нос, обгрызенные ногти. Возьмите зеркало, внимательно смотрите на свое лицо, а я повторю ваш «словесный портрет» еще раз.

– Неужели я такая образина? – спросил Шрезель, но к зеркалу, стоявшему на низком столике около приемника, невольно обернулся. Он внимательно оглядел себя и переспросил: – Разве у меня нижняя челюсть выступает?

– Должен вас огорчить...

– О, погодите, у него внизу, вот здесь, – Шрезель открыл рот и показал два передних зуба, – были золотые коронки! Ура! Пошла ниточка! Вы мне помогли... Я могу фантазировать, если мне помогают! Еще вспомнил: он очень любил, как он определял, «вертеть динамо». Брал такси, катался по городу, потом останавливался у проходного двора, говорил, что выходит на минуточку, и убегал. То же он проделывал в ресторанах, он очень любил рестораны, он еще меня научил заказывать свекольник и рыбу по-монастырски.

– Что, вместе с ним убегали?

– Да что вы... Неужели я похож на тех, кто «вертит динамо»?

– А откуда вам известно про его штуки?

– Говорили в институте...

– Чего ж вы ему тогда холку не намылили?

– Не пойман – не вор.

– Тоже верно.

– Да, вот еще что... У него была прекрасная память. Изумительная память. У него даже записной книжки не было. Один раз услышит телефон – и навечно.

– А почему тогда его выгнали из института?

– Так он же не ходил на лекции. Знаете, может быть, он так хорошо запоминал только телефоны. Иногда бывает: прекрасная память на все, кроме, например, формул. Это от лени ума. Ум ведь надо все время тренировать, иначе его можно погубить. Это, кстати, и ко мне относится: я часто впадаю в какую-то духовную спячку – ничего не интересуется, все мимо, мимо... Хочется сидеть, а еще лучше – лежать и не двигаться... У вас так не бывает? Да, кстати, у него был какой-то друг, по специальности физкультурный тренер. Кажется, бегун. Кажется. Точно я боюсь вам сказать.

– А из какого общества?

– Я был далек от спорта.

– Как звали тренера, не помните?

– Нет, что вы... Я только помню, что он его часто ждал после занятий. Такой высокий худой парень. И еще, кстати, он очень боялся темноты. Да, да, я именно поэтому и удивился, что он стал грабителем...

– Они днем грабили, – сказал Костенко, – сволочи.

– У вас, наверное, очень интересная работа, простите, не знаю, как вас величать...

– Владислав Николаевич.

– Очень красивое созвучие имени и отчества. Я своего сына назвал Иваном. Иван Шрезель.

Костенко улыбнулся:

– Благозвучно. Ему бы на сцепу с таким именем.

Шрезель замолчал и снова начал тяжело смотреть в точку, прямо перед собой, куда-то мимо Костенко.

– Очень мне с ним трудно, – вздохнул он, – жена погибла прошлым летом. Я чудом уцелел, а Ляля погибла во время маршрута по Вилюю. В детский садик я его пристроил, но воспитательница – не мать. Да, погодите, снова ниточка: у него была мать!

– Она умерла.

– Знаете, просто чудесная была женщина. Тихая такая, добрая... Прекрасно готовила. Она умела делать гречневую кашу в духовке – крупинка от крупинки отдельно лежала. Я сам – немножечко гастроном. Люблю на досуге покашеварить. Наверное, истинное призвание – это кухня... Я только на кухне, у плиты, по-настоящему воодушевляюсь, только там я смел в решениях, только когда варю борщок – я чувствую себя личностью... Мы на этой почве очень подружились с его матушкой...

– Вы у них часто бывали?

– Довольно часто. Меня прикрепили к нему помогать учиться. Комсомольская нагрузка. По-моему, это все чепуха. Помогать учиться – это почти то же, что помогать человеку дышать или ходить. Здоровому, конечно. Больному не зазорно.

– Смекалистый был парень?

– Да. Очень. Но я же говорил вам – леньность ума. Отсутствие тренинга. И еще: очень любил и, главное, умел со вкусом одеваться. Это он привил мне любовь к одежде. Он мне даже галстук-бабочку подарил.

– А деньги откуда?

– На галстук-бабочку?

– Нет. На красивую одежду?

– Во-первых, мать. Она была хорошая портниха и помногу зарабатывала. А вообще, очень был элегантный парень. Такой, знаете ли, красавец. Шрамик у него на лбу есть. Витька Кодицкий ему лоб разбил кирпичом. Он его вообще убить хотел.

– За что?

– Никто не знает. До сих пор.

– Вы адрес Кодицкого помните?

– Конечно.

– Давайте-ка я запишу.

Кодицкий

– Я этого человека, по правде говоря, ненавижу, а поэтому вам нет смысла со мной говорить. Объективности во мне быть не может.

– А в чем д-дело? – поинтересовался Садчиков.

– В нас с ним.

– Вы мне мож-жете рассказать?

– Нет.

– Нам сейчас дороги даже самые к-крохотные крупички сведений о нем.

– Это ясно.

– Так что нам нужна ваша помощь.

– Я же говорю – я тут необъективен.

– А что вы можете рассказать о нем – даже необъективно?

– Какой смысл в необъективных сведениях? Мне он кажется уродом, а на самом деле это не так. Я его считаю кретином, а он далеко не глуп. Я его считаю подлецом, а он был где-то просто совершенно обыкновенным, только слабовольным и самовлюбленным человеком. Я его ненавижу как преступника морального. Даже как убийцу – косвенного. А он про это ничего не знает... Так что – какой смысл?

– З-знаете, будет даже бесчестно с в-вашей стороны не рассказать мне все. Либо вы не должны б-были мне говорить того, что сказали только что, либ-бо уж договаривайте. Тогда он был убийцей косвенным, а сейчас он убийца прямой. С наганом в кармане, ясно это в-вам? Он сейчас ходит по городу с оружием!

– Вы будете протоколировать то, что я скажу?

– Вы не х-хотите этого?

– Я требую, чтобы этого не было.

– Обещаю вам.

– Так вот. У меня была невеста. В общем, где-то жена. Я уехал на практику. У меня был ключ от ее комнаты. И когда я вернулся на

неделю раньше срока и вошел в комнату, я увидел в кровати вместе с ней его. Ясно вам?.. Это случилось в ночь перед моим возвращением. Приехали наши ребята и устроили у нее вечеринку. Пили, смеялись, шутили. А он ей мешал водку с вином. А когда все разошлись, он остался у нее. Он нарочно напоил ее.

Я тихо ушел из квартиры – они не слышали меня – и ждал его в подъезде где-то часа четыре. Я начал бить его, я бы его убил. Но он убежал. А она потом вышла замуж за одного моего приятеля. Он любил ее еще со школы... Ей ничего не оставалось делать, потому что тогда не разрешали аборт. И родила мальчика. От него, от этого негодяя. Понимаете? А ведь она была честным человеком. Честный же человек, совершивший подлость, ищет искупления. А она вольно или невольно – мне где-то очень трудно судить об этом – совершила три подлости: с ним, со мной и с моим другом, который ничего не знает до сих пор. И вот в прошлом году, летом, она нашла искупление во время маршрута георазведки по горному Вилюю.

– Понятно. Я, конечно, н-нигде не буду записывать этого. Но мне нужно ее имя.

– Зачем?

– Для будущего. И за п-прошлое.

– Ее звали Ляля. Доброе имя, правда? Очень нежное и простое.

Кодицкий долго зашнуровывал ботинок, а потом, продолжая шнуровать, сказал:

– Вот все, что я могу сказать вам. Все остальное будет просто ненавистью. Я бы убил его тогда, но он убежал из дома. Я караулил его неделю, а потом уехал в тайгу. Из-за этого я кончил институт на полтора года позже остальных. Сегодня вы меня застали случайно: я в Москве бываю не больше месяца в году... Сейчас готовлюсь пройти по Вилюю: в прошлый раз у них ничего не вышло, она там погибла, так, может быть, мне повезет.

– Большая экспед-диция? – спросил Садчиков.

Кодицкий кончил шнуровать ботинок и ответил, усмехнувшись:

- Там видно будет.
- Но Шрезеля вы с собой не возьмете?
- Аппарат у вас четко работает...
- Иначе бы за что деньги платить?
- Нет, я не возьму Шрезеля. К нему-то ведь я ничего не имею.

Опознают

Ленька сидел в коридоре управления и уже в сотый раз считал количество трещин на паркетинах. Он сбивался, начинал снова, доходил до полусотни, но цифры мешались у него в голове. Он считал для того, чтобы не думать о том, как завтра в школе, утром, в восемь часов, начнется экзамен на аттестат зрелости по литературе. Но он обманывал себя, высчитывая трещины на паркетинах. Он все время думал об этом солнечном утре, о партах, которые пахли свежей краской, о Льве – торжественном и чопорном, и о малышах, которые обычно преподносят цветы десятиклассникам, смущаясь при этом и наступая друг другу на ноги.

Он вдруг вспомнил, словно увидел кинокадры, тот сентябрьский день, когда отец привел его в школу. Он не помнил себя, он только мог себя представить – маленького, в длинной серой гимнастерке, перетянутой поясом, который все время сползал с живота. Но он точно помнил отца – у него были холодные пальцы, когда он сжимал Ленкину маленькую руку, подводя его к торжественной линейке первоклассников. День тогда был совсем летний, и осень угадывалась только в том, как высверкивали паутинки, попадая в переливы белого солнца.

«Ну, сынка, иди, – сказал отец, – иди и не бойся...»

Отец часто повторял эту фразу: «иди и не бойся». Он всегда был смелым человеком, его отец: и когда его оклеветали в тридцать седьмом, и когда он строил дорогу на Колыме, и на фронте – сначала в штрафбате, а потом в саперных войсках, где он дослужился до майора и получил три ордена, тяжелое ранение и

контузию; он всегда был смелым человеком, всегда и всюду – кроме дома. Здесь, когда начинались скандалы, Ленька прятал голову под подушку, чтобы не видеть отца – совсем непохожего на самого себя, жалкого и беспомощного... После скандалов и мать и отец задабривали Леньку, каждый старался утащить его к себе, а сердце у мальчонки разрывалось, потому что нет детей, которые бы любили мать больше отца или наоборот. Пожалуй, никто так не наделен чувством справедливости, как дети.

«Иди и не бойся...» Ленька часто вспоминал слова отца во время домашних скандалов. Укрыв голову подушкой, он плакал, потому что гнетущее чувство страха не покидало его в те часы: ничто так не калечит ребенка, как домашние сцены.

Вчера вечером, когда он сидел с Костенко и Садчиковым, страх, похожий на тот, который он испытывал дома, ушел, и тюрьма не казалась ему такой ужасной, как днем у Льва. Но сейчас снова давешний тяжелый и липкий страх делал его безвольным и обессиленным. Постепенно в нем рождалось чувство сначала непонятной, а потом все более осязаемой и давящей злости. Его стали раздражать шаги проходящих мимо людей, количество этих проклятых трещин на паркете, полумрак, который его окружал, и тишина, царившая вокруг. Потом он вспомнил горьковского Самгина и тот эпизод, который Лев вместе с ними читал в классе вслух. И эти страшные слова: «А мальчик-то был? Может, мальчика-то и не было?» – показались ему сейчас пророческими и неотвратимыми. Сначала тюрьма, потом трудовая колония, лопата и нары, а жизнь – мимо. Прощай, поэзия, институт, длинные редакционные коридоры, о которых он мечтал уже года три, прощай, ночная Москва, вся в серой дымке, таинственная и прекрасная. А через десять лет или сколько там дадут год, два – больше или меньше, разницы в этом никакой, – вернется он обворованным. Юности у него не будет. Было детство, а наступит изломанная, ни во что не верящая и ничего не желающая зрелость.

И за всеми этими думами Ленька все время видел лица Костенко и Садчикова, которые кормили его колбасой, поили газированной водой и улыбались, будто они его друзья, а ведь именно они посадят его в тюрьму, именно они искалечат его жизнь, лишат его всего того, что ему дорого и без чего он не может. Что им его стихи, его поэзия и его мечты? Что им?..

Работники скупки и домовый лавки, которые были ограблены восьмого и двенадцатого мая, пришли в управление для того, чтобы опознать одного из грабителей. В кабинете у Садчикова посадили трех парней, приглашенных студентов-практикантов из университета. Студенты все время улыбались и весело переглядывались – это была их первая практика. Садчиков сказал:

– Вы это, х-хлопцы, бросьте. Мы сейчас приведем т-того парня, так ему не до улыбок. Ясно? Вы его так сраз-зу под монастырь подведете. Так что давайте без шуток, пожалуйста...

Леньку посадили между двумя парнями – высокими, в легких теннисках. Четвертого, выпускника МГУ – Сашу Савельева, устроили чуть поодаль. Садчиков оглядел их всех и попросил Костенко:

– Зови кассира из лавки.

Женщина вошла и остановилась у двери. Она испуганно посмотрела на четырех сидевших вдоль стены, а потом, как на спасителя, на Садчикова, усевшегося на подоконнике так, чтобы не было видно его лица.

– Вы здесь н-никого не узнаете? – спросил он. – Из тех, что у вас б-были?

Женщина осторожно скосила глаза, быстро пробежала взглядом по лицам четырех ребят и отрицательно покачала головой.

– Никого, – тихо сказала она.

– Никого? – переспросил Костенко.

Она снова покачала головой.

– Не слышу, – сказал Садчиков.

– Не узнаю, – сказала женщина.

– Спасибо. Вы с-свободны.

Костенко пригласил оценщика из скупки. Он вошел, огляделся, осторожно поклонился Саше Савельеву, который сидел чуть поодаль, потом перевел взгляд на Садчикова и спросил:

– Эти?

– Я вас хотел спросить...

– Ах, негодяи паршивые! – начал он, разглядывая трех, сидевших у стены. – Ах, паразиты поганые! Нет на вас креста, мерзавцы!

– Тише, тише, – сказал Костенко, – давайте без эмоций.

Оценщик еще раз внимательно осмотрел всех, а потом сказал:

– Из этой троицы никого.

– А этот? – показал Костенко на Савельева.

– Этот? В синей рубашке?

– Да...

Оценщик быстро взглянул на Садчикова, потом так же быстро на Костенко, словно желая выяснить, какой ответ их устроит, ничего по их глазам не понял и неопределенно протянул:

– Да... Лицо, прямо скажем...

– Какое? – спросил Садчиков.

– Вы же сказали – без эмоций...

– Я вас спрашиваю: он или нет?

– Как вам сказать...

– Ладно, спасибо, – сказал Костенко, – больше ничего не надо.

Девушка, которая выписывала в скупке чеки, оглядев всех, сразу же сказала:

– Здесь никого нет.

Садчиков облегченно вздохнул.

– Спасибо, ребята, – сказал Костенко. – А тебя, Савельев надо в камеру. Лицо-то у тебя, «прямо скажем», а?

Ленька разлепил губы и спросил:

– Можно попить?

– Валяй, – ответил Садчиков. – Что, п-перетрусил?

– Нет. Теперь все равно.

– Глупость говоришь.

- Может быть... Только я так думаю...
- Глупость, – повторил Садчиков. – Сиди т-тут, я сейчас.
- Ты куда? – спросил Костенко.
- Да так... – ответил Садчиков. – Скоро вернусь.

Самсонов сидел у комиссара и плакал. Весь обмякший, жалкий и – это было сразу видно – тяжелобольной. Только поэтому комиссар сдерживался, чтобы не сказать ему всего того, что сказать бы следовало. «Не можете вместе жить – разойдитесь к черту! Себя мучаете и парня губите! Когда дома непорядок, дети в первую очередь гибнут. Хочешь видимость семьи сохранить, чтобы парня не травмировать, – уезжай к черту в свои леса! Наведывайся два раза в год: и жена твоя будет довольна, и дома тихо. А если она начнет здесь флирты там всякие с тити-мити, возьми парня к себе, в институт всегда успеет, а руками на стройке помахать тоже полезно. Для поэтов особенно. А так – вы грызетесь, а нам потом ребят в тюрьму сажай, да? Мы плохие, а вы хорошие и добренькие? Плачете, к сердцу нашему взываете, да? А оно у меня что, каменное, сердце-то? Или, может, нет?»

Комиссар засопел и, не удержавшись, сказал:

- Совести в вас ни на грош, товарищ Самсонов...

Вошел Садчиков и стал у порога.

- Да входите же, – досадливо поморщился комиссар.
- Он на тех д-делах не б-был.
- А вы сомневались?
- Если бы я не сом-мневался, вы б меня с работы уволили, т-товарищ комиссар.
- Тоже верно. Ну, что будем с ним делать? У парня, понимаете ли, завтра начинаются экзамены на аттестат зрелости. В восемь утра русский письменный.
- Знаю.
- Да. Сочинение. Парень-то с-способный, товарищ комиссар, явно с-способный...

– Куда его будем помещать? В приемник или пока подержим у нас, в камере?

Самсонов закрыл глаза ладонью и начал медленно раскачиваться на стуле – вперед-назад, вперед-назад...

Садчиков сказал:

– Я бы его отпустил по подписке. Вот и отец здесь. И чтоб без отца носу на улицу не высовывал...

– Отец – дело, конечно, великое. Только вы давайте свяжитесь со школой. Как они на это посмотрят... Пусть письмо мне напишут... Иначе я ничего не смогу сделать. Надо мной тоже много начальников, мил душа, сами знаете...

– Слушай, – сказал Садчиков Ленке, – мы т-тебя отпускаем до суда.

– Что?

– То, что слышишь. Отпускаем.

– Куда?

– В школу.

– А после?

– Домой. Сиди и носа не высовывай. После экзамена позвони – ты мне будешь нужен. Читу будем вместе ловить.

– Читу?

– Нет, г-гориллу, – сказал Садчиков. – Что-то ты, парень, соображать перестал от радости.

– И я сейчас могу уйти?

– Пропуск сначала надо в-выписать.

– Куда?

– В баню. Смотри с радости не натвори еще чего. Только завтра сразу после экзамена з-звони. Не забудешь? На телефон. Р-ребятам ничего не говори. Понял? Б-будут спрашивать – отшучивайся. Никто не должен знать, что ты был в к-кассе, а потом – у нас. Понял?

– Понял.

– Ну, будь здоров, Ленка. До з-завтра. Иди вниз, там отец ждет...

Самсонов бросился к Ленке и стал быстрыми сухими и очень холодными руками ощупывать его лицо, голову и плечи.

– Мальчик, мальчик, мальчик мой, – говорил он быстро, и губы у него тряслись, и лицо плясало, и слезы текли из глаз. – Ну что ты, что ты, Ленечка, ну не надо, все кончилось, мальчик, все прошло, не надо... Ну прости меня, мама тоже все поняла, она ждет нас, мальчик, она все поняла...

– Не надо, папочка, – так же быстро и тихо просил Ленка, – только не надо так говорить, папочка, ты так никогда не говорил. Не надо так со мной разговаривать, папочка.

Вечером у комиссара собрались Костенко, Садчиков и Росляков. Комиссар неторопливо расхаживал по кабинету, иногда задерживался возле окна, рассматривая прохожих. Докладывал Садчиков:

– Таким образом, взвесив собранные оперативные материалы, мы предлагаем с завтрашнего дня установить круглосуточное дежурство и патрулирование по центральным улицам города с прочесыванием ресторанов. Думаю, что там, и только там, мы можем найти Назаренко. Выйти на прямые связи преступника нам пока что не удалось. Продолжаем разрабатывать версию тренера, по словам одного из опрошенных, длинного парня, сходного по приметам со вторым преступником. Тот, по-видимому, является главарем банды, но самое надежное – выйти на него через Назаренко.

– Вы будете по улице Горького гулять, – сказал комиссар, – а он сейчас – ту-ту – в Сочи, может, едет. Или в Риге сидит в кафе и молочные коктейли пьет. Так может быть?

– Может, – согласился Садчиков.

– А вы себе тут на улице Горького курорт устраиваете.

– Курорт – на Черном море, – сказал Костенко.

– На Черном море, если быть точным, не курорт, а отдых, Костенко. Курорт – в Ессентуках, где кишки промывают...

– Мы не видим иного пути, – упрямо повторил Костенко.

– Вот и плохо. А вы что думаете, Росляков?

– То же, что товарищи...

Комиссар внимательно посмотрел на Костенко, пожевал губами, и некое подобие хитрой усмешки появилось у него на лице.

– Вы мне эту корпоративность бросьте! Костенко – якобинец, а вы свою голову имейте на плечах! В одну дуду дуετε? Скучно жить, если все в одну дуду!

– Это не дуда, товарищ комиссар, – заметил Костенко, – а наше мнение...

– Засаду на квартире оставили? – спросил комиссар.

– Так точно.

– В отделениях его фотографии уже есть?

– Да, но только институтских времен.

– Что он, себе перманент, что ль, с тех пор накрутил? Ладно. День, от силы два побродите. Только трое вас – густо на одну улицу. Садчиков пусть будет здесь, а вы себе возьмите опера из пятидесятого, он улицу Горького как «Отче наш» знает. Росляков пускай еще раз пройдет по всем его связям. По всем. Вот так. Все. Можете быть свободны...

Маша

Теща Костенко работала на фабрике в ночную смену. В комнате было тихо и пахло свежeweымытым полом. На столе рядом с тарелкой, на которой лежали помидор, два огурца и несколько ломтиков колбасы, белело письмо, придавленное ножом.

Костенко включил свет, сел к столу и вскрыл конверт.

«Здравствуй, милый!

Я сегодня видела очень хороший сон. Как будто мы пошли с Аришкой на пруд, туда, к заводи, около старой мельницы, и начали стирать белье. Мы очень долго стирали, потому что Аришка какая-то сумасшедшая, когда можно постирать. Она готова возиться в воде часами. От этого у нее пошли ужасные цыпки, и ты, пожалуйста, купи детского вазелина в тубике и обязательно нам пришли. Так вот, стираю я белье и вдруг вижу, как по тропинке из леса идешь ты и кидаешь в нас камушками. Правда, чудесный сон? Во всяком случае, со значением. Это я к тому – когда у тебя будет отпуск? Ты ведь обещал скоро приехать, и мы тебя страшно ждем. Аришка ко мне все время пристаёт: «Скоро папа приедет?» Я говорю: «Скоро», а она: «Ты честно говоришь?» Я отвечаю: «Ну конечно». Тогда она улыбается и просит: «Скажи громче». Когда поедешь, обязательно купи в «Синтетике» ведерко и тазик, чтобы она не сидела в холодной воде. Солнце очень жжет, а вода по-прежнему холодная. Вообще этот год какой-то ненормальный. Бабки в деревне говорят, что високосный год очень опасен; они уверяют, что в високосный год опасно есть рыбу, потому что многие умирают, подавившись костями. Может быть, это чушь, только ты рыбу не ешь, пожалуйста, а то я очень волнуюсь.

Миленький мой, как ты там один? Я тебе, наверное, ужасно надоела со своими посланиями. Но спрашивать тебя, как и что ты ешь, нелепо, потому что я все прекрасно знаю, а помочь, даже если б жила рядом, не смогла. Говорят, когда питаешься без режима, надо

есть аскорбинку. Это у нас на заводе давали, когда я работала в трубопрокатном. Я тебе все забывала об этом сказать, а тут вдруг вспомнила.

По вечерам здесь поют песни. Знаешь, интересно, поют одни бабы. Мужики только слушают, сидят на завалинке, курят папиросы и слушают... Очень сосредоточенно слушают, будто работают... А до войны, мама говорила, и мужики пели... Аришка очень смешно выводит: «Летят утки и два гуся», слух у нее хороший, но я ни за что не буду заставлять ее учиться музыке. Это должно быть в человеке заложено – как жажда. Если она сама будет просить – тогда отдадим ее в школу... И потом пианино поставить некуда... Если мы еще пианино поставим – придется нам самим в палатке, на улице, жить... Не ругайся в исполкоме: сколько уже терпели, теперь, наверное, недолго осталось... А вообще, была б моя воля и не окажись я твоей «подкаблучной женой», переехали бы мы в деревню, право слово... Наш участковый, дядя Прохор, так хорошо живет – ездит себе на лошади и нюхает воздух – где самогон пьют... Сирень цветет вовсю: деревня в белой кипени; рано утром выйдешь на крыльцо – туман еще лежит над рекой, и даже не верится, что это все правда... Ты заметил, когда очень красиво и хорошо, люди обычно говорят – «как в сказке».

Ой, приезжай, пожалуйста, скорее! Целуем тебя. А это тебе рисует Аришка: красную рыбу с белыми глазами, грозу и дождь. Целую. **Маша».**

Садчиков и Галя

– Послушай, Г-галка, – сказал Садчиков, – у нас все-таки нелепые законы.

– Это что-то новое у тебя, – сказала Галина Васильевна, – откуда такая оппозиционность?

– Нет, п-правда, – повторил Садчиков. – Мне сорок три, а уже пора на пенсию. За шестнадцать лет я в-выработался, как за пятьдес-

сят.

– Напиши в правительство.

– Очень хорошая идея, – усмехнулся Садчиков, – там все ж-ждут моего письма, как манны небесной. Дети спят?

– Конечно. У Леночки болит горло, я боюсь, как бы она не заразила Никитку. Говорят, у нас во дворе ангина и коклюш.

– Да? Черт, п-плохо.

– У тебя прелестная реакция на мои сообщения, – заметила Галина Васильевна, – я завидую твоему спокойствию.

– Зависть – черное чувство, оно п-портит человека, – улыбнулся он.

– Не одно оно.

– Тоже верно. Слушай, у меня есть к-крахмальные рубашки?

– Ты сегодня совсем не похож на себя. Сначала пенсия, потом крахмальные рубашки. Где логика?

– Я ее оставляю на Петровке, в с-сейфе. Без нее мне легче дышится. Это довольно каверзная штука – логика.

– У тебя плохое настроение? Что-нибудь стряслось на работе?

– Да нет, ничего особенного.

Галина Васильевна отошла к шкафу и стала перебирать ящик с бельем.

– Бедный мой Садчиков! – сказала она, вздохнув. – У тебя нет крахмальных рубашек.

– Плохо. Вообще мне надо купить несколько крахмальных рубашек.

– Их не покупают. Их крахмалят дома.

– Это я хитрил. Только дети думают, что соленые огурцы растут на грядках.

– Городские дети...

– Деревенские тоже. До г-года.

– До трех.

Садчиков предложил:

– Сойдемся на двух, а?

– Ты ужасно испортился за последнее время, – вздохнула Галина Васильевна. – Этот жаргон: «сойдемся».

– Тебе б-больше нравится «разойдемся»? – спросил Садчиков.

Галина Васильевна обернулась к нему, закрыла ящик с бельем и медленно ответила:

– Иногда.

– Что с-с т-тобой?

– Ничего.

– Я спрашиваю т-тебя.

– А я отвечаю. Это твой обычный ответ. «Ничего» – и все тут.

– Ты же умная ж-женщина.

– Боюсь, что ты ошибаешься. Сейчас с умными женщинами туго. А особенно с женами.

– Что с т-тобой, Галка? – повторил Садчиков.

– Ничего, – ответила она и, взяв его белую рубашку, ушла в ванную комнату.

Он вошел к детям. Они спали, размотавшись в своих кроватках. Садчиков любил подолгу смотреть, как они спали. Тогда все дневное, тягостное отходило, растворялось, а потом исчезало вовсе.

«Семь лет, говорят, критический срок в браке, – думал он. – Сначала три года, потом семь, а потом одиннадцать. Если пережить эти три рубежа, тогда все будет в порядке. Значит, три мы пережили. Сейчас остается пережить семь. А что, собственно, случилось? Почему она сегодня такая? Просто отмечает семилетие как фактор? Если б ей делать нечего, а то ведь и в клинике работает, и дома. А почему, собственно, я сразу начинаю с нее? Может быть, начинать надо с меня? Наверное, да. Хотя считается, что в семье все от женщины. От нее идут и спокойствие и неурядицы. Считается? А почему так считается? Черт, как бы сохранить – внешне – все атрибуты влюбленности? Женщины все-таки ужасно любят внешние проявления влюбленности. Они смущаются, когда им целуют руку, но им же это нравится. Разве нет? Теперь буду каждый вечер целовать

Галке руку, – усмехнувшись, решил Садчиков, – может быть, это ее успокоит...»

...Она разводила крахмал на кухне и плакала так, чтобы он не мог ее слышать. Думала: «Мы с ним живем вместе, а ведь я ему чужая. Он живет своим делом, куда мне нельзя соваться, иначе по носу дадут, как любопытной кошке. А разве все так должно быть? Зачем же тогда одна крыша? Или это во мне говорит наша исконная бабья дурость? Что мне надо? Он не пьяница, не гуляка – чего же еще? Но ведь подло так думать по отношению к себе самой. Это значит – совсем не уважать себя. Раз водку не пьет, и с чужими бабами не спит, и деньги домой приносит – значит, все хорошо, да? А сердце хочет еще чего-то... Тот маленький красный комочек, который я режу и шью, он хочет чего-то еще, того, чего у нас нет. А чего у нас нет? Журналов вслух не читаем? В зоопарк с детьми не ходим? Чего же мне надо? Может быть, я негодяйка просто-напросто? Может, это во мне инстинкты разгулялись в тридцать пять лет, а я под них подвожу основу?»

Галина Васильевна вздрогнула и стала быстро мыть лицо, чтобы он не заметил, как она плакала. Потом она накрахмалила рубашку и тихонько позвала:

– Милый, не сердись, пожалуйста, это я просто дура.

Но Садчиков не слышал ее. Он спал, укрыв голову подушкой, и стонал во сне.

Галина Васильевна присела на стул возле кровати и долго смотрела на спящего Садчикова.

«Ничего у нас не выйдет с ним, – вдруг отчетливо и горько поняла она. – У него своя жизнь, а у меня – своя. Только моя жизнь интересней его: когда я в клинике, среди моих друзей, я себя чувствую совсем иначе. Я ведь прощаю и Григорию Павловичу, и Роману, и Нине Константиновне то, что никогда бы не простила Садчикову: и злую шутку, и даже крик – Роман кричит как полоумный, когда делает обход... Зачем же я мучаю бедного Садчикова, которому стольким обязана? Развестись? А ведь он меня

любит... Никто и никогда так не будет меня любить, как он... Хотя, может быть, важнее, чтобы **ты** любила, а не тебя любили... Как это говорят юристы – «модус вивенди»? Наверное, нельзя оставлять детей без отца... Надо жить, сохраняя приличия, хотя нет ничего страшнее, чем брак без любви... Все равно, рано или поздно, это отомстит нам – и мне и ему... Сказать ему, что надо расстаться? Он не поймет... Добрый, милый Садчиков... Он не поймет.... Он живет по своим законам, и он решит, что я спятила... И – наверное – правильно решит...»

Чита и Сударь

Как правило, люди не очень умные обладают изумительным чувством интуиции. Это труднообъяснимо, но это так. В тот самый день, когда пришел Сударь и попросил спрятать пистолет, Чита испугался, но давнишнему другу отказать не посмел. С тех пор он стал бояться ночевать дома один. Он приглашал свою любовницу Надю – натурщицу из художественного училища, но все равно не мог заснуть до трех, а то и пяти часов утра.

– Надя, – шептал он, – ты только не спи.

– А что? – сонно спрашивала женщина.

– На лестнице кто-то стоит, – говорил он. – Ты никому не рассказывала, что у меня будешь?

– Любовнику говорила, – сонно шутила Надя и отворачивалась от него к стенке.

– Надя, – шептал он, – ты завтра днем поспишь, а пока лучше поговори со мной.

– Да ну тебя... Зазывает, а сам только говорит. Что я тебе, для собеседований нужна? Или для любви?

Надя снова засыпала, а Чита лежал и смотрел в потолок. Он не мог себе объяснить, чего он боялся, но страх был четок и осязаем. Особенно под утро, когда воцарялась тишина и все вокруг делалось непроглядно темным, а потому зловещим. Эти ночи без сна казались ему бесконечными. После трех дней Чита понял, что дальше он так не может. И он пошел к Сударю...

Сударь жил на окраине, в новом доме, где им с матерью дали однокомнатную квартиру после того, как отец Сударя был арестован по делу Берия органами государственной безопасности.

Мать круглый год жила в Сухуми, у мужа покойной сестры, а Сударь был здесь, в Москве. После того как отец был арестован, Сударь продолжал работать тренером. Он был хорошим бегуном, но мастером спорта не стал, потому что пил. Когда был отец, он не

думал о деньгах. Когда отца не стало, он начал думать о деньгах. Сначала он занялся перепродажей магнитофонов и приемников. Он заработал сразу несколько тысяч рублей, часть пропил, а часть положил на сберкнижку. Потом, почувствовав, что перепродажа магнитофонов – шаткое и опасное дело, он переключился на спекуляцию рыбой. У Сударя была «Победа», он уезжал в пятницу на Большую Волгу, покупал задарма в рыболовецком колхозе двести килограммов свежих окуней, а в субботу утром уже стоял около ворот Малаховского колхозного рынка. Здесь у него были свои люди, они брали товар оптом, и Сударь увозил домой пару тысяч: на неделю ему хватало. Потом барышников забрала милиция, и Сударь, приехав в субботу к условленному месту, остался ни с чем. Рыба протухла, и он, помотавшись по московским базарам без толку, ночью выбросил ее в Москву-реку. Приехав домой, он напился до зеленых чертей и начал бить о стены блюдца и чашки.

Утром он долго не мог сообразить, что с ним. Голова трещала, во рту было горько, руки тряслись. Он поехал на стадион, но вести занятия не мог, потому что очень мутило. Его строго предупредили, а занятия перенесли на другой день. Сударь уехал за город, туда, где раньше у них была дача, и лег в высокую траву.

«Ненавижу все! – пронеслось в мозгу. – Все и всех ненавижу. Они у меня отняли то, что было моим. За это они должны поплатиться».

Сударь лежал в траве, смотрел в небо и продолжал думать: «А кто они? Люди. И те, которые наверху, и те, кто внизу. Все они виноваты в том, что случилось со мной». Сударь вспоминал, что с потерей отца он лишился всего, к чему привык с детства. А привык он к шоферам, которые возили его с девушками за город; к паюсной икре и дорогим коньякам, которые обычно пил отец; к лучшим портным и к деньгам, которые были у него всегда. Впервые отец дал ему денег, когда он учился в пятом классе. Мальчик попросил отца в воскресенье помочь ему с арифметической задачей – у него никак не сходился ответ. Отец достал из заднего кармана галифе пачку денег и сказал: «Пусть тебе наймут репетитора». Потом он научился

понимать – что можно было просить у отца, а что – нельзя. Он понял, например, что нельзя просить отца пойти с ним в зоопарк или в Парк культуры. Он завидовал тем ребятам, которые ходили с родителями в кино и театры – он был этого лишен. Он не мог просить отца сыграть с ним в «морской бой», в «слова» или в шахматы. Но зато – став взрослее, он себя успокаивал этим, – он всегда мог попросить у отца машину, деньги, путевку на юг. Но он помнил, и сейчас до ужаса ясно видел, как отец, вернувшись с работы под утро, бледный, с белыми глазами, бил мать нагайкой, а потом запирали ее в уборной и приводил к себе молчаливых пьяных женщин. Сударь помнил, как отец, загнав его в угол, избил до полусмерти. Сударь на всю жизнь запомнил страшное лицо отца, его синюю шею и железные кулаки, поросшие белыми торчащими волосинками. Сударь тогда мечтал о том, чтобы отец умер, а им бы дали пенсию и оставили машину, дачу и шофера. Но отец не успел умереть. Его расстреляли вместе с Берия.

...Вернувшись в Москву вечером, Сударь проткнул шилом несколько баллонов у машин, которые стояли в их дворе. Он смотрел из окна, как владельцы, чертыхаясь, клеили баллоны и ругали милицию, которая не может навести порядка. Он стоял у окна, тихо смеялся и чувствовал себя отомщенным – хоть в малости.

С работы его прогнали через полгода за пьянство. Тогда он начал отгонять машины от автомагазина на Бакунинской до берегов Черного моря тем, которые сами не умели водить. Ему за это неплохо платили, и неделю он ни о чем не думал, а только вел машину и пел песни. А потом и это кончилось: с него взяли в милиции подписку об устройстве на работу. Сударь начал работать снабженцем на текстильной фабрике. Именно здесь он и познакомился с человеком, который называл себя Прохором. Здесь он впервые попробовал, что такое наркотик; здесь он впервые – в холодном, яростном полубреду – услышал «программу» Прохора: как и кому надо мстить.

Чита пришел к Сударю вместе с Надей.

– Слушай, – сказал он, пока Надя варила на кухне макароны, – хочешь, я тебе мою Надьку на ночь оставлю, а?

– Хочу.

– Такая, знаешь, женщина...

– Ничего бабец.

– Только пистолет у меня забери.

Сударь ответил:

– Не-е. Ты у меня на крючке с этим пистолетом. Хочешь, в милицию позвоню? Обыск, кандалы, пять лет тюрьмы – и с пламенным приветом! Надька и так ко мне в кровать прыгнет.

– Сволочь ты...

– Ну-ну!

– Тогда четвертак дай. Я спать не могу – страшно. Может захмелюсь – усну...

– Ничего, потом отоспишься. А деньги – их зарабатывать надо, а не кланчить.

– Как?

– Умно. Хочешь пятьсот рублей получить?

– Пятьдесят?

– Пятьсот. Пять тысяч по-старому.

– Конечно, хочу.

– Ну и ладно. Завтра получишь.

– Только слушай, Сударь... Может, ты что-нибудь не то придумал?

– То! Я всегда то, что надо, придумываю.

– На преступление не пойду.

– Ой, какой передовой! Может, в народную дружину записался? А? Мы тебе рекомендацию справим, характеристику дадим... Добровольцем-комсомольцем на целину не хочешь? А? Что молчишь? Ты не молчи, ты мне отвечай...

– Я на преступление не пойду, – повторил Чита. – Сколько б ты мне ни сулил.

– Молчи. Ты только молчи и меня не беси, понял? «Не пойду на преступление»! А кто у меня на кровати Милку изнасиловал? Кто? Ей

пятнадцать, она несовершеннолетняя, это забыл? А кто со мной часы у пьяного старика в подъезде снял? Это забыл? А кто мне про ящики с водкой сказал? Это тоже забыл? А кто таксиста ключом по голове бил? Я? Или ты? Номер-то я помню: ММТ 98–20! Девятый парк, восьмая колонна, мальчик!. Он тебя узнает, обрадуется! На мои деньги пить, жрать и с бабами шустрить ты мастак, да? Пошел вон отсюда! Ну!

– Что ты взъелся? Я про тебя тоже знаю...

– Я сам про себя ничего не знаю. Давай гребни отсюда, гребни.

– Дай пожрать-то.

– Не будет тебе здесь жратвы.

– Мне ехать не на чем.

– Пешком топай. Или динамо крути – это твоя специальность.

– погоди, Саш, давай по-душевному лучше поговорим. Ты сразу не кипятись только. Ты мне объясни все толком.

– «Толком»... Я больше тебя жить хочу, понял? Я глупость не сделаю, не думай. Я семь раз взвешу, один раз отрежу. И если тебя зову, так будь спокоен – значит, все у меня проверено, значит, все как надо будет. Люди трусы. Видят, как жулик в карман лезет, – отвернутся, потому что за свою шкуру дрожат. А если пистолет в рыло – он потечет вовсе, понял? Сколько надо, чтобы взять деньги? Две минуты. И машина у подъезда. С другим номером. Двадцать тысяч на четверых. Шоферу – кусок и нам по пятерке.

– А остальные куда? – быстро подсчитав, спросил Чита.

– В Дом ребенка, – ответил Сударь и засмеялся.

Он продолжал смеяться и тогда, когда ушли Надя и Чита. Смеясь, он подошел к тумбочке, на которой стоял телевизор, открыл дверцы и достал наркотик. После этого он еще несколько минут смеялся, а потом, тяжело вздохнув, лег на тахту и закрыл глаза. Полежав минуты три с закрытыми глазами, он сел к телефону и стал ждать звонка. Ровно в семь к нему позвонили. Перед тем как снять трубку,

Сударь вытер вспотевшие ладони о лацкан пиджака и внимательно их осмотрел. Ладони были неестественного цвета.

«Завтра к гомеопату пойду, – подумал Сударь, – пусть пилюли пропишет».

Сударь снял трубку.

– Сань? – спросил глуховатый сильный голос. – Это ты, что ль?

– Да.

– Ну здравствуй. Как чувствуешь себя? Товар ничего?

– Марафет, что ли?

– Ишь пижон-то. Наркотик марафетом называешь... Смотри только слишком не шали.

– Я знаю норму, Прохор.

– Меня повидать не надо еще тебе, а? Не стыдно, а? Если стыдно – ты скажи, я пойму, я добрый. Это вы, молодежь, стыд забыли, а мы, старики, совестливые.

Сударь засмеялся и сказал:

– Стыдно.

– Гуще смейся, а то, слышится мне, притворяешься ты вроде.

– Честно.

– Ну тогда хорошо, миленький, тогда я не волнуюсь...

– Не волнуйся.

– У меня за тебя по утрам сердце болит, Сань, все думаю про тебя, думаю... Жалею я тебя...

– Пожалел волк кобылу...

– Ну а когда повидаемся-то, Сань? – тоненько посмеявшись словам Сударя, спросил Прохор.

– Завтра. В девять. У «Форума».

– А это чего такое, «Форум» – то?

– Кино.

– А... А я думал, кинотеатр...

Сударь сказал:

– Шутник ты, Прохор, – и положил трубку.

Назавтра в девять вечера Прохор передал Сударю еще два грамма наркотика и «дал наводку» на скупку по Средне-Самсоньевскому переулку. В тот же вечер Сударь поехал к шоферу Виктору Ганкину, вызвал его тонким свистом и условился о встрече. А потом, купив в магазине две бутылки коньяку, отправился к Чите.

После первого грабежа Чита домой не возвращался, ночуя то у Нади, то у Сударя.

Третьи сутки

По улице Горького

В кабинете у Садчикова Валя Росляков громил кибернетику, взывая к самым высоким идеалам гуманизма и человеколюбия.

– Она сделает мир шахматной доской, эта проклятая кибернетика! Она превратила людей в роботов!

– Ты с чего это? – поинтересовался Костенко. – Снова ходил на диспут динозавров с людьми?

– Нет, сидел у наших экспертов...

– Ну, извини.

– Да нет, ничего. А вообще-то черт-те что! Меня, индивида, проклятая кибернетика делает подопытным кроликом.

– А ты не хочешь?

– Не хочу.

– И правильно делаешь. А вот я очень хочу спать.

– Жалкие и ничтожные люди! – сказал Росляков. – Мне жаль тебя, Костенко. Ты не живешь вровень с эпохой.

– Ну, извини.

– Иди к черту! – рассердился Росляков.

– Далеко идти.

– Ничего, наши кибернетики рассчитают тебе точный маршрут...

– Ладно. Тогда подожду... Только при других не надо так про кибернетику... Ей, бедолаге, так доставалось от наших мудрецов... А что касается подопытных кроликов... Ими мы останемся, не развивайся кибернетика, мать техники двадцатого века...

– А папаша этой матери – человек? Делаем иконы, а потом начинаем уговаривать самих же себя этим иконам поклоняться... Кто информирует кибернетическое устройство о том, что ему – будущему роботу – надлежит исполнить? Человек, Слава, человек, со всеми его слабостями, горестями и пристрастиями...

– Дурашка... Когда будут созданы саморегулирующиеся устройства, они не позволят машине делать то, что будет продиктовано пристрастностью или слабостью... Исходные данные машины не позволят ей творить зло.

– Это ты серьезно?

– Как тебе сказать... Вообще-то – в высшей мере серьезно... Успокаиваю себя...

– Ну вот! Так кто же прав? Да здравствует восемнадцатый век, Слава! Век самостоятельного мышления...

– Именно... Восемнадцатый век мыслил, потому-то девятнадцатый подарил нам электричество, железную дорогу и кинематограф... Тебе, Валя, в черносотенцы надо податься: они ведь тоже боятся нового... Ну, они – понятно, мыслишек не хватает, трусы внутри... Слушай, я тебя лучше уволю из нашей группы, а?

Вошел Садчиков и сказал:

– Давайте, ребята, на ул-лицу. Пожалуй, что на координации здесь останусь я. Это комиссар прав. Буду за связного. Позванивайте ко мне. Две к-копейки есть?

– Я запасся, – сказал Костенко, – в метро наменял.

– Ленька позвонит – я его к вам п-подключу. Этот старичок с бородкой, у-учитель его, гов-ворит, что к устному ему тоже нечего готовиться. Он у них лучший ученик по литературе. Так что, я д-думаю, он с вами погуляет. Карточка карточкой, а когда в лицо знаешь, оно всегда н-надежней.

– Осудят его? – спросил Костенко. – Или все же на поруки передадут?

– Какой судья попадетса, – сказал Садчиков. – Раз на раз не приходится.

– Это будет идиотизмом, если парня посадят, – сказал Росляков. – Тюрьма – для преступников, а не для мальчишек.

– Какой он м-мальчишка? – возразил Садчиков. – Сейчас мальчишка кончается лет в тринадцать. Они, черти, образованные. С-

смотри, как он стихи читает! Словно ему не семнадцать, а все тридцать пять.

– Ну и хорошо, – сказал Костенко, – жизни больше останется.

– Это как? – не понял Садчиков.

– А так. Чем он раньше все поймет и узнает, тем он больше отдаст – даже по времени. Они сейчас отдавать начинают в семнадцать лет, на заводе, со средним образованием, а мы? Только-только в двадцать три года диплом получали. Потом еще года два – дурни дурнями. Диплом – он красивый, да толку что, если синяков себе еще на морде не набил...

– Жаргон, жаргон, – сказал Садчиков. – «Морда» – это ч-что такое?

Росляков засмеялся и ответил:

– Это лицо по-древнерусски.

– Нет, а правда, – продолжал Костенко, заряжая пистолет, – вон Маша моя... Три года на заводе поработала, а сейчас ее можно с пятого курса без всякого диплома на оперативную работу брать.

– Во дает! – усмехнулся Росляков. – Как жену аттестует, а? Скромность украшает человека, ничего не скажешь.

– Так я ж не о себе.

– Муж и жена, – наставительно сказал Валя, – одна сатана. Будешь спорить?

– Спорить не буду.

– То-то же...

– Нет, не «то-то же», – усмехнулся он. – Я не буду спорить, потому что пословица есть: «Из двух спорящих виноват тот, кто умнее».

– Во дает! – повторил Росляков.

– Ладно, пошли Читу ловить, – сказал Костенко и подтолкнул плечом Рослякова, – а то у тебя сегодня настроение, как у протоиерея Введенского – только б дискутировать...

Они шли по улице Горького вразвалочку, два модно одетых молодых человека. Шли они не быстро и не медленно, весело о чем-

то разговаривали, заигрывали с девушками, разглядывали ребят и подолгу топтались около продавцов книг. Со стороны могло показаться, что два бездельника просто-напросто убивают время. Походка сейчас у них была особенная – шаткая, ленивая, ноги они ставили чуть косолапо, так, как стало модным у пижонов после фильма «Великолепная семерка». Около «Арагви» к ним подключился третий – оперативник из пятидесятого отделения. Костенко оглядел его костюм и спросил:

– Ты что, по моде тридцать девятого года одеваешься? И еще шляпу напялил. Сейчас на улице двадцать градусов, а твоя зеленая панама за километр видна.

– Так я ж для маскировки, – улыбнулся оперативник. – Нас еще в школе учили, что шляпа меняет внешний облик до неузнаваемости...

– Для маскировки пойдй и сними ее.

– И брюки поменяй, – предложил Валя, – а то у тебя не брюки, а залп гаубицы. Такие брюки сейчас уже не маскируют, а демаскируют.

– Не обижайся, – сказал Костенко, – он дело говорит. Мы здесь будем бродить, ты нас найдешь. А то сейчас ты как на маскарад вырядился; «мастодонт-62»...

Ленька сидел уже полчаса, а писать сочинение все не начинал. Была вольная тема: «Героизм в советской литературе»; были темы конкретные: «Образ Печорина» и «Фольклорные особенности прозы Гоголя».

Лев Иванович несколько раз проходил мимо Леньки, а потом, после получаса, заметив, что парень до сих пор не взял в руки перо, остановился рядом с ним и тихо спросил:

– Леонид, в чем дело? Вольная тема специально для тебя.

Ленька взял ручку и обмакнул перо в чернильницу.

«Для меня, – зло подумал он, – черта с два! Я не могу писать эту тему. Это будет подлость, если я стану писать ее. Это будет так же подло, если в глаза человеку говорить одно, а за глаза другое. Почему он сказал, что это для меня? Он не должен был так говорить.

Даже если он добрый, все равно он не имел права говорить мне это. Надо писать про Печорина. Или взять и написать про самого себя. Про то, что со мной было, и как я шел с убийцами в кассу, и как я молча стоял у окна, вместо того чтобы орать и лезть на них. Вот о чем я должен писать. И напрасно я провожу аналогию между Печориным и собой. Тот был честным человеком, а я самая последняя мелкая и трусливая дрянь».

Но он стал писать про героизм в советской литературе. Он писал быстро, ему было ясно, о чем писать, и он знал, что должен сделать, чтобы не считать себя потом негодяем и двурушником.

Он сдал сочинение первым и сразу же пошел искать автомат – позвонить на Петровку...

– Слушай, Росляков, а опер был прав: без шляпы довольно трудно. Тебе напекло затылок?

– У меня нет затылка, – ответил Костенко с достоинством, – у меня, простите, две макушки на том месте, где у прочих затылок.

– Ну, извини, – сказал Росляков.

– Да нет, ничего, пожалуйста...

– Две макушки – это к чему? К счастью? Умный ты, значит, да?

– Именно. Два затылка свидетельствуют о незаурядности личности...

Они ходили по улице Горького уже часа четыре. Асфальт стал мягким, зной дрожал в воздухе. В мелких брызгах – улицу часто поливали неповоротливые, как броневики, и такие же пузатые автомобили – играла синяя радуга. Улица жила веселой и шумной жизнью. Быстрые студентки; негры; растерянные, сбившиеся в кучу транзитники с вокзалов; продавцы книг, домохозяйки с набитыми сумками, школьники; девушки из магазинов, выбежавшие на перерыв в синеньких, дерзко открытых халатиках; индусы в высоких тюрбанах и с пледами через плечо – вся эта многоликая масса людей шла мимо и рядом, и надо было не только радоваться, глядя на эту шумную и веселую толпу, но все время быть настороже, надо

все время приглядываться – нет ли сине-красного шрама на лбу, нет ли большого рта, яркого, словно покрашенного помадой; надо было приглядываться к каждому мужчине среднего роста, который шел в темных очках и в кепке, потому что и Рослякову, и Костенко, и Садчикову казалось, что Чита будет обязательно в темных очках и в кепке, чтобы скрыть шрам на лбу. Им казалось так, потому что они долго сидели и перечитывали все показания о Назаренко, о его трусости и хамстве, о его страсти к ресторанам и к дешевой показухе, о его врожденной интуиции, осторожности и – вместе с тем – наглости.

Он обязательно должен появиться здесь, среди шума и веселья. Он должен играть перед самим собой в таинственный героизм. А такой героизм всегда нуждается в зрителях и в острых ощущениях. Один на один такие «герои» предают друг друга, выкручиваются, стараясь свалить все на другого, плачут и впадают в истерику, они кричат и воют, проклиная все и вся.

Если бы Чита почувствовал за собой «хвост», если бы он хоть на минуту решил, что засыпался, то наверняка – в этом муровцы тоже были убеждены – пришел бы не к себе домой, а скорее всего, на квартиру к своему длинному другу, и заперся там, пережидая грозу.

По-видимому, грабители были здорово пьяны, когда взяли с собой Леньку. ОРУД уже работает по всем гаражам и районным ГАИ, но «Витьку», о котором говорили грабители, пока не нашли. Да и был ли Витька Витькой? Сколько их, Витек, в московских гаражах? Тысяч пятнадцать, не меньше... И точно ли помнит Ленька? Но взяли они его с собой, ясное дело, по пьянке. Дурачок парень, «Я читаю стихи проституткам и с бандитами жарю спирт...» А они его за это целовали. Ворюги сентиментальны, им бы детские сказки слушать, слез не соберешь. Опьянели, решили – свой, да и Лешка, верно, брякнул что-нибудь вроде того, что «жизнь надоела, смотаюсь отсюда к черту...». Есть такие – в семнадцать лет жизнь надоедает, а потом подушку зубами рвут, по нарам кулаками стучат, лбом о стенку бьются. Ну этого не посадят. Не должны. Глупо будет и жестоко. Хотя

судья судье рознь, а закон для всех один. Был с бандитами? Был. Они стреляли? Стреляли. Банда? И да и нет. Они – банда, а он – дурачок. На всю жизнь наука. Дома тарарам, приткнуться некуда, оступился...

«Впрочем, – остановил себя Костенко, – что значит «оступился»? Плохо, что мы слишком вольно трактуем закон. «Закон что дышло: куда повернешь – туда и вышло» – была когда-то такая поговорка. Трактовать по-разному допустимо поступок, а статьи закона обязаны быть едиными – вне всяких трактовок. Была банда – Чита и Длинный. Они не знали Леньку, а тот не знал их. Так? Так. Они позвали его с собой, не предупредив о своем намерении грабить кассу и стрелять в кассира. Смешно: «Пойдем, Лень, вместе с нами и убьем женщину в кассе...» Другое дело – он должен был не в парадном прятаться, а сразу же, немедленно прибежать к нам... Это можно квалифицировать не только как трусость, но и как пособничество грабителям. С некоторой натяжкой – но можно... И судье будет трудно объяснить, что в этом его поступке есть доля нашей вины, вины милиции. Если б все милиционеры работали с тактом, умно, если бы все они были со средним образованием, а желательно – с высшим – тогда другое дело. А ведь сами много портачим – разве нет?»

– Слава, – сказал Росляков, – ты бы съел мороженое?

– Два.

– Какое ты хочешь? Эскимо?

– Нет. Может быть, у нее есть фруктовое – я его больше всего люблю... Оно клубникой пахнет...

– Ладно. Я сейчас, мигом...

«Надо будет на суд пойти, – думал Костенко. – Может, судья согласится, выслушает. Или докладную комиссару напишет, что, мол, я влезаю в его компетенцию? Комиссар вызовет «на ковер», это уж точно, он такие вещи не прощает... Ну что ж... Пусть еще один выговор вклеит – переживу... Но в суд пойти придется».

Лев Иванович хотел было прочитать Ленькино сочинение, но завуч Мария Васильевна взяла его первой. Она читала и, поджав губы, усмехалась, потому что все написанное Ленькой было исполнено пафоса и красоты. Но в конце она вдруг споткнулась и покраснела. Она увидела строчки, написанные чуть ниже последнего абзаца сочинения. Там было написано: «Я знаю, что не имею права писать про это. Поэтому прошу мое сочинение не засчитывать. Без аттестата жить можно, без совести – значительно труднее. Л. Самсонов».

...Ленька долго не мог дозвониться к Садчикову, потому что номер все время был занят. Он шел по улице, время от времени заходил в телефонные будки, звонил на Петровку, слышал короткие гудки, получал обратно свои новенькие две копейки и двигался дальше. Он шел, внимательно присматриваясь к лицам людей. Он сейчас мечтал о том, чтобы встретить Читку и того, второго. Он сейчас бы знал, что надо сделать! Сейчас бы он бросился на них и вцепился мертвой хваткой. Потом его, полуживого, – Читка обязательно должен был ударить его ножом в сердце и промахнуться так, чтобы рана не была смертельной, – привезли бы в больницу, он лежал бы белый и спокойный, а рядом на стульях сидели ребята в белых халатах... Наверняка пришел бы журналист из газеты, но Ленька б молчал, потому что ему трудно говорить, а за него бы рассказывали ребята. Потом бы пришли те двое, которые его допрашивали, и им было бы мучительно стыдно смотреть Леньке в глаза, а он бы улыбнулся им и подмигнул так, как они подмигивали ему позавчера ночью.

Он дозвонился, когда был уже на Пушкинской площади.

– А, Леня, – сказал Садчиков, – ну к-как, сдал экзамен?

– Сдал, – ответил Ленька.

– Свободен?

– Да.

– Давай-ка, дружок, б-быстренько ко мне, я пропуск уже заказал.

Когда Ленька сел на диван, Садчиков сказал:

– Ты сейчас пойдешь на улицу Горького. Там увидишь наших. Не обращай на них внимания. Не думай о них, х-ходи себе и смотри. Песенки пой. Мороженое кушай. Девушек р-разглядывай.

– Что я, пижон?

– По-твоему, только пижоны разглядывают девушек?

– Нет, но как-то...

– Ясно. Очень убедительно возразил. Так вот, ты ходи и смотри Читю. Если надо б-будет – ребята тебя окликнут. Увидишь Читю – поздоровайся с ним и иди дальше. Он сделает несколько шагов вперед, ты его оклики и попроси с-спичек. И все. Потом уходи. Только обязательно уходи. Дог-говорились?

– Да.

– А как со следующим экзаменом?

– Это ж литература.

– А м-математика?

– Она после. Ребята на мою долю шпаргалки пишут. Да потом...

– Что?

– Нет, ничего. Просто так...

Садчиков поморщился.

– З-знаешь что, Леня, ты эт-ти свои гимназические «просто так» и «мне теперь все равно» брось. В жизни с человеком может случиться всякое, но рук опускать ни при каких ус-ловиях нельзя... У меня друг есть, он с-сейчас доктор химических н-наук, лауреат, его весь м-мир знает. Так вот, он попал в передрягу почище твоей... Ес-сли это можно назвать передрягой... Он сбил человека, п-понимаешь? Не важно, что тот сам б-был виноват... Посадили моего дружка, пять лет д-дали... А он знаешь, что в колонию попросил ему п-прислать? Книги. По его п-предмету... Вернулся, защитил диссертацию, работает вовсю... Обстоятельства м-могут ломать человека, но ведь на то ч-человек, что он обязан быть сильнее обстоятельств, к-как бы ему трудно ни было... Н-нюни распускать не надо... У каждого человека, даже в последнюю минуту перед гибелью, – я фронт имею в виду, когда п-положение безвыходное бывало, – в-все равно есть

шанс спасти себя. Не ш-шкуру, конечно, шкуру спасти легко... Я беру, как говорится, комплекс: душу и тело...

– А меня в Москве пропишут, когда я выйду из колонии?

Садчиков усмехнулся:

– Как это у Гоголя? «Хорошо б, Пал Иваныч, беседки вдоль дороги из Петербурга в Москву построить, и чтобы купцы разным мелким товаром торговали». Вот ведь приучили нас перспективные планы строить... Т-ты думай об эк-кзаменах и как Читу узнать... Ладно, иди. И н-нос на квинту не вешай...

Как только Ленька ушел, Садчиков позвонил в школу и спросил директора, что у Самсонова с сочинением. Директор громко кашлянул в трубку, вздохнул и осторожно ответил:

– Неплохо.

– Что, т-тройка?

– Нет, почему же... – директор помолчал, снова осторожно покашлял и добавил: – Я склонен поставить ему высшую оценку.

И директор прочел Садчикову Ленькину приписку. Садчиков посмеялся, простился с директором и кинулся следом за парнем. Он догнал его у самого бюро пропусков.

– Лень! – окликнул он его.

Тот обернулся.

– Да...

– С-слушай, – сказал Садчиков и запнулся. Он не знал, зачем решил догонять Леньку. Ему просто очень понравилось то, что тот написал, и хотелось сказать про это. Но он понял – сейчас этого говорить нельзя, потому что он может обидеться и решить, что здесь контролируют каждый его шаг. Поэтому Садчиков сказал: – Я просто х-хотел спросить, есть ли у тебя п-папиросы. Если нет – возьми мои.

– Спасибо большое, – ответил Ленька, – только я не курю.

Через полчаса в кабинет к Садчикову зашел майор Вано Иванович Зенберошвили из научно-технического отдела.

– Привет, старик, – сказал он. – Росляков просил поработать со следом машины... Помнишь, во время убийства Копытова? Там на шоссе остался небольшой следочек...

– Не тяни душу...

– Души нет, ты что – забыл?

– Аксиома.

– Ну, – усмехнулся Зенберошвили.

– Ближе к д-делу, Ваню.

– Я всегда близок к делу...

– В данном случае ты «забалтываешь» истину.

– Воспринимаю как оскорбление...

– Н-ну, извини.

– Ничего, важно, чтоб человек был хороший... Так вот, след принадлежит «Москвичу» – пикапу. Левый передний скат у «Москвича» почти целиком сожран, развал дрянной. Правый скат совершенно новый. Вот, в таком разрезе.

– Спас-сибо.

– Не на чем.

– ОРУДу теперь будет легче?

– ОРУДу, старик, всегда легко... ОРУД – не МУР. Будь здоров.

– Спасибо тебе, Ваню...

Готовятся к встрече

Прохор позвонил Сударю рано утром. Чита еще спал. Он вчера поругался с Надей, приревновав ее к грузинским спортсменам, которые сидели за соседним столиком в ресторане, и поэтому приехал ночевать к Сударю, а не к ней. Домой он не ходил и о том времени, когда домой все-таки придется вернуться, старался не думать. Да и потом, Сударь говорил о таком деле, которое даст сразу много денег и позволит уехать из Москвы на полгода, а то и на год – в Ялту, Гагру, к черту и дьяволу. А о том, что после этого веселого полугода домой все-таки придется возвращаться, он боялся даже и подумать... Жить и ни о чем не заботиться – только одного этого ему сейчас и хотелось.

– Сань, – сказал Прохор, – ты это... ты сегодня меня увидь. У меня все уже выяснилось с тем, про чего я говорил тогда, помнишь?

– Помню.

– Где увидимся-то?

– А где ты хочешь?

– Ты свое предложи, Сань...

– Давай в центре. Около Пушкина.

– Нет. Я в центр не хожу, Сань. Там народу много. Я по-хорошему люблю, чтоб ты и я. Давай у вокзала, ладно? У Курского. Мне туда ехать на метро просто, без пересадок. А?

– Что, у Курского народу меньше? – спросил Сударь. – Тоже мне, нашел пустыню...

– Там народу вовсе нет, – ответил Прохор. – Ты чего говоришь, Сань, ты ж умный! Там не народ, там пассажиры, а они ездят, пассажиры-то, они на одном месте не живут. Ты часам к девяти подходи на площадь, я тебя отыщу. Ладно?.. Договорились? Не забудешь? У касс. Лады? Ну, пока. Сань.

– Пока.

– Э, Сань, погоди. Ты это... ты приятеля своего возьми, я на него посмотреть хочу.

– Ладно, – ответил Сударь, – возьму.

Разбудив Читу, он сказал:

– Мы с тобой сегодня в одно место пойдем. Познакомлю тебя с человеком. Он хитрый, как змея, так что ты не вздумай ему сказать про того шмака, который с нами был в кассе.

– Про кого?

– Ну, про того парня, которого я взял в кассу. Про мальчишку этого...

– А что такого?

– А то, что водку жрать нельзя перед делом! Хорошо, если он смылся, а ну как его поймали? Начнут мотать... А вдруг мы с тобой что-нибудь лягнули ему? Я, вроде, ничего не говорил, а ты ведь трепач, особенно когда банку примешь.

– Я молчал.

– Ты и молча умеешь трепаться.

– Сам больно хороший.

Сударь легонько стукнул Читу по щеке и вздохнул.

– Вставай, – сказал он, – пойдем жрать. У меня с похмельюги башка трещит.

– Куда? В «Москву»?

Сударь подумал с минуту, а потом ответил:

– Не-е. Я в центр не хожу. Там народу много. Поехали в Парк культуры. Чайки летают, мамы одинокие с деточками прогуливаются.

– В парк – так в парк...

– Слышь, а Надька с тобой в кабак пошла, мне ногу жала, а уехала с тем парнем.

– С каким?

– Ну, с черным с этим, который ее танцевать клеил...

– Она одна ушла.

– Киря... Он ее за углом в такси ждал.

- Точно?
- Точно.
- Вот паскуда...
- То-то и оно...

Чита стал одеваться. Он натянул носки и майку: прыгая на одной ноге, влез в брюки и только потом, помахав руками, что заменяло ему зарядку, сказал:

– Зараза. Меньше чем за ящик коньяку не прощу.

– Я б за чекушку простил, – сказал Сударь, – она ж проститутка. Скучно. Все заранее известно – как расписание поездов. Лично я влюбиться хочу. В девственницу. И чтоб любовь была – со слезами, с ревностью, чтоб пострадать можно было... А Надька твоя как животное...

– Не обижай мою подругу. У нее комната с видом на Пушкинскую площадь. А девственницы твои с родителями живут, им родители шмон учиняют, дают авторитетом... Я пистолет возьму, ладно?

– Это зачем?

– К Надьке съездим.

– Расстрелять хочешь?

– Ага. Приведу в исполнение.

– Ладно, пошли. Наган не бери, заметят – шухер будет. А Надьку лучше душить, у ней шея толстая, под пальцем будет ерзать...

Снова ходят

Теперь Садчиков, подменивший Рослякова, который уехал на другое задание, шел вместе с Ленькой, а Костенко с оперативником фланировали параллельно с ними, только по другой стороне улицы. Они по очереди закусывали в столовой на углу проезда МХАТа и улицы Горького, а потом снова выходили в жаркий шум и бродили от проспекта Маркса до площади Маяковского.

Садчиков сказал:

– Обидно, Леня, мы с т-тобой бандитов ищем на таких хороших улицах. Одни названия чего с-стоят. Как ты думаешь, что формирует у нас бандитов?

– Не знаю.

– А ты п-подумай...

– Я думал...

– Водка, Л-леня... Пить не умеешь – глотай кефир. Ненавижу пьяниц.

– Это вы все про меня? – спросил Леняка.

– Отчасти, – улыбнулся Садчиков, – но ты еще н-начинающий алкаш.

– У меня начало оказалось концом.

– Как на торжественно-траурном заседании излагаешь, – снова улыбнулся Садчиков, – ты проще г-говори, это с-сближает. Мы ж с тобой условились... Проще из-злагай...

– Так я ж просто и говорю. В жизни больше водки не выпью.

– Ну, зарок во вслух не давай, не н-надо. Ты про себя больше старайся. Вслух – все легко. У нас одного товарища в управлении прорабатывали на с-собрании. За дело, правильно прорабатывали. А он потом вышел на трибуну – и айда себя помоями облить. «Я, говорит, и т-такой и с-сякой, я и негодяй, я и слепец...» А потом – фьюить! «Все, говорит, о-осознал, все понял и вас, говорит, благодарю». Даже, представь себе, хлопать ему н-начали. А моему, он подонок. Если б он выш-шел на трибуну и минуты две просто-напросто помолчал и в глаза людям посмотрел, – куда как правдивей это все было бы, честное слово.

Садчиков легонько подтолкнул Леняку в бок и показал ему глазами на парня, шедшего им навстречу. У парня был шрамик на лбу и половину лица занимали большие зеркальные очки.

– Нет, – сразу же ответил Леняка, – не он.

– Тише, – поморщился Садчиков, – г-головой качни, и достаточно.

Он отошел на самый край тротуара, вытянул руку по направлению к витрине магазина, мимо которой шел парень в очках, и сказал

Леньке:

– Смотри, как к-красиво «Березку» отделали, а?

Ленька не понял и переспросил:

– Что?

– Красиво, говорю, в-витрину отделали, – ответил Садчиков и пошел дальше.

А оперативник, который был рядом с Костенко, заметил знак Садчикова, быстро перебежал улицу и двинулся следом за парнем в зеркальных очках и с маленьким шрамом на лбу.

Росляков вернулся в управление к девяти часам. Он объездил десять спортивных обществ и отобрал фотографии всех высоких тренеров от двадцати пяти до тридцати лет, у которых когда-либо была кожаная куртка с желтой «молнией» и с потертыми манжетами на рукавах. Почему-то именно эта деталь – обтрепанные манжеты, – о которой ему рассказал рыжий геолог Гипатов уже в передней, провожая, врезалась Рослякову в голову и никак не давала покоя. Ему казалось, что именно по этой детали он должен выйти на второго преступника. Споря с самим собой, он думал: «Шерлокхолмовщина заедает. Манжеты, видите ли! Еще пушинку мне надо для полноты картины. Ребята засмеют, если узнают...» Он настойчиво отвергал эту «манжетную шерлокхолмовскую версию», но она неотступно сидела у него в голове.

Впрочем, Костенко всегда спорил с теми, кто потешался над Шерлоком Холмсом.

«Это от интеллектуальной недостаточности вы на англичанина нападаете, – говорил он. – Дедуктивный метод в ваши годы не проходили, его, наверное, считали буржуазным и идеалистическим... А мозг тренировать надо... И Конан Дойль именно к этому призывал своих читателей... И потом это благородно-отважный сыщик... Шерлоку Холмсу даже памятник стоит в Лондоне. А у нас про майора Пронина рассказывают анекдоты; и если милиционеру нужен свидетель, бегут люди, как лани... Конан Дойль был логик; это

качество не столько врожденное, сколько благоприобретенное, в нашей работе необходимое, а мы от него, как черт от ладана...»

Росляков спустился к дежурному и спросил:

– От Садчикова нет ничего?

Дежурный ответил:

– Молчит.

– Может быть, мне туда подключиться? – сказал Росляков.

– Пожалуй, лучше вам быть здесь.

– Пожалуй, – согласился Росляков, – я пойду перекушу на полчаса, ладно?

– Валяйте...

– Если оттуда позвонят – я в буфете.

Ленька спросил:

– Может быть, немного посидим?

– Это ночью, – ответил Садчиков.

– Ноги отваливаются.

Садчиков остановился и сказал:

– А ну, п-покажи! Никогда не видел, как н-ноги отваливаются.

Ленька улыбнулся.

– Знаете, – сказал он, – я хотел у вас попросить совета.

– Это можно.

– Что мне делать?

– Смотреть по сторонам, – ответил Садчиков.

– Я не о сегодняшнем дне.

– Ах, так... Ну что ж... По-моему, надо хорошо сдать эк-кзамены – и сразу на завод. Чтоб до суда тебя р-рабочие успели узнать, понимаешь?

– А судить все равно будут?

– Почему «все равно»?

– Ну, потому что я с вами хожу, помогаю...

– Так ты уходи. Милый мой, если т-ты только для суда нам помогаешь, тогда т-топай домой.

– Я хожу с вами не для суда!

– Ну, извини, з-значит, я тебя не так понял.

– Просто я думал, что судят преступников, а настоящий преступник никогда не будет помогать искать вам своего сообщника.

– Милый мой, ты не п-представляешь себе, как ты не прав. И попросил я тебя помочь просто потому, что думаю о т-тебе неплохо, понимаешь? И потом стихи у тебя хор-рошие. Больше ничего не написал?

– Нет.

Садчиков показал глазами на парня, который шел с забинтованным лбом. Ленька отрицательно покачал головой.

– Напишешь, – закурив, пообещал Садчиков. – Я отчего-то верю, что ты много напишешь.

– Когда на заводе писать? Там надо успевать поворачиваться.

– Ты знаешь, что такое им-мпульс? – спросил Садчиков.

– Знаю.

– Так где у тебя будет больше импульсов для т-творчества – на заводе, когда надо только успевать поворачиваться, или в полном спокойствии, дома, когда все тихо и птички щ-щебечут?

– Не знаю.

– А я знаю. Вот у меня когда б-башка особенно здорово соображает? Когда все решают минуты, когда очень т-трудно, когда надо принять только одно решение и оно должно быть точным. А если у меня много времени, оп-пасности никакой, так я тюфяк тюфяком. Что смеешься? Я верно говорю. У п-поэтов так же.

– У поэтов иначе.

– Не может быть.

– Может быть. Думать надо много, чтобы образ родился.

– Дома холодно д-думать, уж больно все со стороны выйдет.

– Нет. Сердце – оно и на заводе и дома одинаковое.

– Разное, – возразил Садчиков. – Завод – он т-только называется так холодно, а ведь это люди. Завод – это я условно говорю. Иди д-дома строй, коров дои, письма разноси, трубы чисти. Надо, чтобы ты людям не только про себя одного г-говорил, но и про них тоже. Ты

смотри, кто о себе память оставил? Достоевский, Пушкин, Лермонтов. А как их ж-жизнь ломала! То-то и оно. Им-мпульсы – великая штука. Если ты в сплошной р-розовости живешь – какой ты, к черту, поэт? Так, демагог, да и только.

– Сами говорили, что мои стихи нравятся...

– Говорил.

– Значит, обманывали?

– Чего мне тебя обманывать? Просто ты раньше жил тем, что у тебя было дома. Вот и все. Плохо было, ты и п-писал, чтобы боль внутри не лежала. Скажи, не так?

Ленька изумленно посмотрел на Садчикова и ничего ему не ответил.

Около ресторана «Баку» Садчикова догнал оперативник из пятидесятого и негромко сказал:

– Проверили мы того. Он из цирка, наездник. Очень нервничал.

– Извинились перед ним?

– Крикливый, черт. Дежурный хотел на него протокол за хулиганство накатать.

– Еще чего! – рассердился Садчиков, – Объяснить н-надо человеку, а не протокол писать. Тоже к-каратели нашлись. Телефон у него есть?

– Да.

– Ладно, я п-потом сам позвоню ему, объяснюсь. А то неловко, да и т-трепотня по цирку пойдет о милицейских грубиянах. Ты цирк любишь? – спросил Садчиков Леньку.

– Люблю.

– Я тоже, особенно в-воздушных гимнастов.

– А я – икарыйские игры.

– Губу покажи, – попросил Садчиков.

Ленька доверчиво выпятил нижнюю губу.

– Ну, из-звини, – сказал Садчиков. – Губа у тебя не дура.

Встретились

Проخور обнял Сударя, долго тряс руку Читы и, заглядывая ему в глаза, спрашивал:

– Ну как, дорогой? Ну как? Экий ты парень видный; девки небось мрут, да, Сань? Или неверно я говорю? Старый стал, голова хуже варит, могу и ошибиться...

Проخور был невысок, безлик и казался с первого взгляда серым и словно бы пыльным. Он опирался на палку и шел медленно, привлекая негнущуюся ногу. Говорил он быстро, без умолку, изредка похохатывая и все время заглядывая в глаза то Сударю, то Чите. Смотрел как-то по-особому: замирая и напрягшись. Шея у него при этом стягивалась синими веревками жил.

– Водку пьете, чертенята? – спрашивал он. – С девками небось балуетесь, а? Я старик, мне-то завидно. Нашли б какую кралю, золотенькие мои, а? Читушка, что молчишь? Не нравлюсь я тебе, да? Ты вона какой модный, а я – как деревня, да? Смущенье тебя берет, да? Ну ладно, ладно, ты иди, а я с Санечкой поговорю. Ты иди, не думай, ты понравился мне, лицо у тебя доброе, ты гуляй сегодня, сегодня липа цветет, от нее голова туманится, Читушка.

Чита недоуменно посмотрел на Сударя и с трудом сдержался, чтобы не засмеяться. Сударь шел нахмурившись, и когда увидел прыгающую от еле сдерживаемого смеха Читину морду, раздул ноздри и бешено повел глазами.

– Гуляй отсюда, – сказал он негромко, – киря. Слышал, что говорят, или нет?

– Пушай он у тебя поспит, – сказал Проخور, – отдохнуть вам, ребятки, надо. Ты сегодня, Читушка, к девкам не ходи, ладно? Завтра к девкам пойдешь, Читушка, завтра.

– Чего ты обо мне печешься? – спросил Чита. – Сам не маленький.

– А ты мне «ты» не говори, – сказал Проخور улыбочиво, – ты мне «вы» должен говорить.

– Это почему?
– Потому что я умный, а ты молодой.
– На ключи, – сказал Сударь, – иди домой, я скоро буду. Разговор есть.

Чита бросил ключи в карман, остановил такси, сел рядом с шофером и сказал:

– Поехали домой, шеф.
– Адрес какой?

Чита секунду колебался: куда ехать? Домой, к Надьке или все-таки к Сударю? Подумав, он решил ехать к Сударю. Он решил так потому, что спать одному страшно, а Надька, стерва, наверное, с тем парнем. С Сударем не страшно, он сильный, как бык, ему все до лампочки. Счастливый человек.

– Сань, ты только слушай, что я говорю-то, я ведь дело тебе говорю, как брату, – честно, от всей души. Ты только сам посуди: он один живет, профессор этот. Гальяновский Иван Семенович. На стенах у него – картины и иконы. Картины – дерьмо, одни бабы в черных платьях. В них ценность только одна, что старые они. Ну и иконки – тоже старинные. Ты бритвочкой картинки-то жик, жик – в трубочку и в чемоданчик, а иконки – в другой. Внизу Витька, ему в кузовочек забросил и прямым ходом к музыканту. А у того ничего не бери, только скрипочку возьми. Она старенькая тоже, скрипочка-то. Вишь, до чего людишки додумались: старье в вещах ценят, а в человецех – отнюдь нет. А чтоб потом мусора не думали чего – ты пару костюмчиков, часики там, цацки золотенькие хап – в третий чемоданчик. Профессор-то этот самый, хирург, он один живет. Жена у него померла, а детей нет. И скрипач тоже один, его жена песни поет, сейчас улетела она за границу, за океан. Ты его тоже молоточком. Чтоб без свидетелей. Тебе иначе нельзя: милиционер на тебе висит, так или иначе – вышка, если заметут. А так – дверку замкнул тихонечко да и ушел. Недельку трупики полежат, а нынче жара стоит – пусть они, мусора-то, ищут следов. Там вонь будет,

следов не будет, Санечка. Я все на ихних учебниках проверил, на криминалистических.

– Сколько это в деньгах?

– Ты чего, капиталист, что ль? – засмеялся Прохор и оглянулся. – Прямо как буржуй проклятый начал говорить.

Они сидели на лавочке в сквере. Вокруг было пусто; быстро, повесенному, темнело, женщины с детьми уже разошлись по домам, а влюбленные еще не успели сюда прийти.

– Я серьезно, Прохор.

– Да и я не шуткую. Пять косых получишь. Пять косых, Сань.

– По-старому, пятьдесят?

– Ага.

– А Чите?

– Ты чего это? Сдурел? Чите... На двоих пять. Деньги-то огромные, Сань.

– Думаешь, я полный дурак, Прохор? Думаешь, я цену старым картинкам не понимаю? Не туда стреляешь, дедуля. Десять косых – и без разговоров. Вот так-то, Прохор.

– Миленький, ты со мной так не говори. Не надо, Сань, я ведь встал да и ушел. И весь разговор. Марафет ты, может, в другом месте и найдешь, а меня-то – нет, не найдешь ведь, Сань. Я тебя завсегда разыщу. Не-е, ты не думай, я не грожуся, спаси бог, я добрый, мне чего? Мне ничего и не надо, я старый. Я свое отжил, а вот тебе пожить надо. Я про что толкую? Про то, что пока можешь жить – живи, а смерть придет, голову прячь и зон! Только ее тоже обмануть можно, если с умом. Семь косых я тебе даю. И десять грамм марафета. И больше ты меня не торгуй, все одно не заторгуешь, Санечка.

– А марафет-то здесь?

– Завтра перед делом получишь. Все сполна принесу, как в аптеке...

– Давай адреса.

– Чего их давать-то? Их не давать, их запоминать надо.

– Ладно. Запомню. Теперь с Витькой. Машины у нас не будет.

– Это почему?

– Запсиховал он.

– А чего, Сань? Причина-то есть какая? Может, не поблагодарил ты его, а? Ты честно мне скажи, а то темно мне будет разбираться, я ведь должен по закону разобраться, чтоб без обид. Может, обделил ты его, а? Он ведь обидчивый, Сань...

– Он свою долю получил, я не крохобор.

– Да, господи, рази я говорю что? Просто интересуюся.

– Не знаю, что с ним. Говорит – завязал.

– А ты с ним беседу имел?

– Я ж говорю – псих. Ногти грызет, ни в какую не соглашается...

– Ну ладно, ладно, ты не сердись на него. Сердце людское разную печаль вмещает. Я с ним поговорю, с Витькой-то, он ведь парень душевный, а, Сань? Да? Или не прав я?

– Въедливый ты, просто сил нет. «Душевный, душевный»! Адрес дать?

– Да я знаю, Сань. Я все знаю, милай ты мой. До ноготка все знаю. Ты завтра дома сиди и жди. Я позвоню тебе. Поговорю с Витькой и позвоню. А если не позвоню, ты к Курскому подъедь. Теперь смотри: вот чемоданчик, в нем для мастера-электрика весь инструмент. Ты с им и пойдешь. Сразу с дальней комнаты у профессора начинай, чтобы убедиться, один он или кто есть. Если один, ты его попроси фонарик принести, он отвернется, а ты его – по темечку. Чита пушай на лестнице стоит. А как стукнешь, его впусти, и шуруйте. Понял? Не торопись, шторы занавесьте – и айда... Только ты трупик сначала в ванну спрячь, чтоб Читу попусту не нервозить...

– Ты меня не учи.

– Не сердись, Сань, ты чего? Я ж от сердца, Санечка, ты не думай. И вот еще возьми. Для Читы. Наганчик. Он пригодится. Хороший наганчик, вороненый, руку холодит, вчера по случаю достал... Пять патронов я в барабан загнал, больше-то и не надо, да, Сань?

Сударь ушел первым, а Прохор сидел и улыбался. Если все пройдет так, как он задумал, тогда сорок тысяч рублей он получит завтра вечером на привокзальной площади от человека, который будет его ждать в машине с желтым номером. Коллекция итальянских картин эпохи раннего Возрождения, принадлежащая профессору Гальяновскому, завещанная им в дар Эрмитажу, оценивалась в пятьдесят тысяч золотых рублей. Профессор собирал ее всю жизнь – долгие шестьдесят лет, отказывая себе подчас в самом необходимом. Все три Государственные премии, гонорары за свои труды он отдавал коллекционированию. Коллекция у него была редкостная, изумительная, и знали об этом многие люди и у нас в стране, и за ее рубежами.

Скрипка, которая хранилась в доме у известного советского музыканта, принадлежала ему давно. Она была подарена ему еще до войны правительством. Оценивалась она в тридцать тысяч золотом.

Да в конце-то концов черт с ними, с рублями, со скрипками и коллекциями! Завтра вечером должны были погибнуть от руки Сударя два великих гражданина: гений операций на сердце и скрипач, известный всему миру.

А придумал эти два преступления маленький, серый человечек по имени Прохор. О нем Сударь почти ничего не знал. Не знал он ни его фамилии, ни места жительства, ни занятий – ничего он не знал о Прохоре – контрразведчике из власовской охраны. Прохор сумел скрыть многое, и поэтому он был репрессирован как рядовой власовец. В пятьдесят девятом году его освободили по состоянию здоровья. Ловко сыграв на доверчивости врачей, он уехал из Коми АССР сначала в Ярославскую область, а потом перебрался под Москву, в Тарасовку. Здесь он снял комнату у вдовы, которая жила с двумя маленькими детьми, и зажил тихо, незаметно и скромно. Прохор приглядывался, выжидал, думал. Он провел несколько удачных операций, но понял, что крупное дело одному ему не поднять. Встретился с Сударем. Убил с ним Копытова, завладел

оружием. И завтра решил сыграть ва-банк. Вот только Витька. Шофер, хороший паренек. Задурил. Ай-яй-яй! Он адрес-то знает. Подвозил ночью, после милиционера. Ночь – она, конечно, ночь, да Тарасовка тоже не тайна. Фары тогда табличку осветили. Табличка желтенькая, а буквочки на ней черные, резкие. А память у молодых светлая, в ней все точно и зримо откладывается. Витька, Витька, ты чего ж запсиховал, а, Витьк?

Проход поднялся и пошел к вокзалам. Шел он, совсем и не прихрамывая, а палку держал в руке вроде зонтика. Шел он не сутулясь и не казался сейчас таким маленьким и забитым, как десять минут назад, пока рядом сидел Сударь. Попадутся мальчишки – про палку сразу стукнут. А палки-то и нет; вон решетка канализационная, туда ее и опустит... Уронил! Ай-яй-яй, какая жалость! Ищите хромого старичка! Ищите, мусора, вам деньги за это платят. Зорко ищите, еще зорче!

Никаких происшествий

В час ночи Садчиков вызвал дежурную машину и отвез Леньку домой. Улица уснула. Мокрый асфальт блестел, будто прихваченный ледком. Сильно пахло цветущими липами. Сонно моргали тупыми желтыми глазами светофоры на перекрестках и площадях. Из-за неоновых фонарей небо казалось непроглядно-темным.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

**Военные
Приключения**

ПЕТРОВКА, 38

ЮЛИАН СЕМЕНОВ



